



ALMANACCO LETTERARIO

Conoscere Eurasia Edizioni



ЛИТЕРАТУРНЫЙ АЛЬМАНАХ

Издательство «Познаём Евразию»



Банк Интеза – российский дочерний банк Группы Интеза Санпаоло, которая является одной из крупнейших банковских групп в еврозоне и абсолютным лидером рынка банковских услуг Италии.

В России Интеза Санпаоло представлена уже сорок лет – в 1973 году в Москве было открыто постоянное представительство банка «Банка Коммерциале Италия», которое стало первым представительством иностранного банка в СССР.

Банк Интеза предоставляет широкий спектр банковских услуг предприятиям и частным лицам в 25 регионах России от Калининграда до Владивостока.

Принципы социальной ответственности лежат в основе деятельности Банка Интеза и Группы Интеза Санпаоло, которая поддерживает проекты в области культуры и искусства в Италии, в России и в других странах своего присутствия.

Генеральная лицензия Банка России № 2216
www.bancaintesa.ru



Banca Intesa è la sussidiaria russa del Gruppo Intesa Sanpaolo, il maggior gruppo bancario in Italia e uno dei principali in Europa.

In Russia il Gruppo vanta una presenza di 40 anni: nel 1973 a Mosca venne aperto l'Ufficio di Rappresentanza permanente della Banca Commerciale Italiana, la prima rappresentanza di una banca straniera in URSS.

Banca Intesa offre una gamma completa di prodotti e servizi bancari ai clienti, privati e aziende, sul territorio di 25 regioni del Paese da Kaliningrad a Vladivostok.

Lo spirito di responsabilità sociale è fondamentale per l'attività di Banca Intesa e del Gruppo Intesa Sanpaolo che promuove iniziative culturali in Italia, in Russia e negli altri Paesi dove il Gruppo è presente.

Licenza Bancaria della Banca di Russia № 2216
www.bancaintesa.ru

Conoscere Eurasia Edizioni

IV

Издательство «Познаём Евразию»

Associazione Conoscere Eurasia

L'Associazione Conoscere Eurasia è stata costituita nel 2008 per iniziativa di cittadini italiani e società private, nonché del Consolato Generale della Federazione Russa a Milano e del Consolato Onorario della Federazione Russa a Verona.

Non ha fini di lucro e si propone prevalentemente di sviluppare le relazioni economiche e culturali tra l'Italia, la Federazione Russa e la Comunità Economica Eurasiatica, alla quale aderiscono a pieno titolo Bielorussia, Kazakistan, Kirghizistan, Tagikistan e Uzbekistan e, come osservatori, Armenia, Moldavia e Ucraina.

Inoltre, l'Associazione Conoscere Eurasia è attivamente impegnata nello sviluppo dei rapporti con l'Azerbaigian, il Turkmenistan e l'Organizzazione di Shanghai per la Cooperazione (SCO) a cui, oltre alla Federazione Russa, aderiscono come membri effettivi Cina, Kazakistan, Kirghizistan, Tagikistan, Uzbekistan, e come osservatori India, Iran, Mongolia e Pakistan.

Afferiscono alla Associazione Conoscere Eurasia persone fisiche e giuridiche dei vari Paesi, ma anche enti giuridico-statali ed economici.

Grazie al contributo di idee e al sostegno degli associati, Conoscere Eurasia organizza regolarmente forum e seminari di carattere economico, nonché iniziative culturali quali cineforum, mostre d'arte, premi letterari per giovani, corsi di lingua e cultura russa per adulti e bambini.

Ассоциация «Познаём Евразию»

Некоммерческая Ассоциация «Познаём Евразию» создана в 2008 году по инициативе итальянских граждан, частных и государственных компаний, Генерального консульства Российской Федерации в Милане и Почётного консульства Российской Федерации в Вероне.

Целью Ассоциации является развитие экономических и культурных связей между Россией и Евразийским экономическим сообществом, в которое входят такие страны, как Белоруссия, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан и, в качестве наблюдателей, – Армения, Молдавия и Украина.

Кроме того, Ассоциация «Познаём Евразию» проводит активную работу по развитию всесторонних связей с Азербайджаном, Туркменистаном и Шанхайской организацией сотрудничества (ШОС), членами которой, помимо России, являются Китай, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан и, в качестве наблюдателей, Индия, Иран, Монголия и Пакистан.

Члены Ассоциации «Познаём Евразию» – это физические и юридические лица разных стран, а также государственные органы и экономические учреждения.

Благодаря идеям и поддержке своих членов, Ассоциация на регулярной основе организует экономические форумы и семинары, а также различные культурные мероприятия: кинофестивали, художественные выставки, литературные премии для молодых писателей, курсы русского языка и культуры для взрослых и детей.

Литературный институт имени А.М. Горького

Литературный институт имени А.М. Горького – государственное учебное заведение, основанное в 1933 году по инициативе А.М. Горького. Современное название институт получил в 1936 году. С 1942 года приняты очная и заочная формы обучения. С 1953 года при институте действуют Высшие литературные курсы. В 1983 году институт награжден Орденом Дружбы народов. С 1992 года находится в ведении Министерства образования и науки Российской Федерации.

В настоящее время учебный процесс идет на двух факультетах: очном и заочном – по программам специалиста (квалификации «Литературный работник» и «Литературный работник, переводчик художественной литературы»). Система обучения в институте предусматривает изучение курсов гуманитарных и общественных дисциплин, занятия в творческих семинарах по родам и жанрам художественной литературы: проза, поэзия, драматургия, детская литература, литературная критика, очерк и публицистика, перевод художественной литературы. Институт ведет активную международную деятельность, контактируя со многими профильными зарубежными университетами.

Istituto Letterario A.M. Gor'kij

L'Istituto Letterario A.M. Gor'kij è un'istituzione universitaria statale fondata nel 1933 su iniziativa di Maksim Gor'kij, che ha preso il nome attuale nel 1936. A partire dal 1942 è stato introdotto l'insegnamento in sede e quello per corrispondenza. Dal 1953 sono stati attivati i Corsi Superiori di Letteratura. Nel 1983 l'Istituto è stato insignito dell'Ordine dell'Amicizia tra i Popoli. Dal 1992 è entrato alle dipendenze del Ministero dell'Educazione e della Scienza della Federazione Russa. Attualmente la formazione professionale si sviluppa in due facoltà, in sede e per corrispondenza, secondo un programma di laurea specialistica (con indirizzo "Letteratura" e "Letteratura e Traduzione Letteraria"). Il sistema di insegnamento dell'Istituto prevede corsi con insegnamenti di ambito umanistico e sociale, nonché seminari dedicati a vari generi letterari: narrativa, poesia, drammaturgia, letteratura per l'infanzia, critica letteraria, saggistica e pubblicistica, traduzione letteraria. L'Istituto partecipa attivamente a collaborazioni internazionali, avendo numerosi contatti con università straniere.

Direttore editoriale e letterario
Flavio Ermini

Progettazione e cura grafica
Cierre Grafica

Per i singoli racconti © Autori
Per le traduzioni © Traduttori
Per l'Edizione © 2013 Associazione Conoscere Eurasia

Via Achille Forti 10, 37121 Verona, Italia
info@conoscereeurasia.it
www.conoscereeurasia.it

Главный редактор
Флавио Эрмини

Разработка проекта и графическое оформление
Чиэрре Графика

© на рассказы принадлежат авторам произведений
© на переводы принадлежат переводчикам
© 2013 данного издания принадлежат Ассоциации «Познаём Евразию»

Италия 37121 г. Верона ул. Акилле Форти, 10
info@conoscereeurasia.it
www.conoscereeurasia.it

ALMANACCO LETTERARIO

Conoscere Eurasia Edizioni

ЛИТЕРАТУРНЫЙ АЛЬМАНАХ

Издательство «Познаём Евразию»

Antonio Fallico

Presidente dell'Associazione Conoscere Eurasia



Purtroppo la crisi economica e sociale, che da anni affligge il nostro pianeta, morde ancora. In molte parti del mondo aumentano i disoccupati e i poveri. Persino in alcuni Paesi cosiddetti sviluppati, come l'Italia, la Francia e la stessa Germania, il disagio della gente comune è diventato così profondo da causare proteste e ribellioni di massa. Dal disastro economico e finanziario per adesso sono immuni i Paesi denominati Brics, tra i quali la Russia, che tuttavia cominciano a manifestare sintomi di stanchezza e di rallentamento nell'economia. Non è affatto escluso che in una prospettiva a breve termine siano costretti a subire la generale crisi economica, sociale ed etica.

Per uscire da questa situazione, che sembra irreversibile, occorre una metanoia, una rivoluzione mentale, culturale e morale. Prima di tutto, il denaro deve ritornare a essere un mero strumento e non il fine assoluto della vita; in secondo luogo, la ricchezza prodotta va ridistribuita in modo equo all'intera società e non deve essere monopolio di pochi plutocrati o oligarchi.

La nostra aspirazione, che interpreta le esigenze della gente comune di tutto il mondo, non è affatto un'utopia. È un obiettivo realistico e necessario per la stessa sopravvivenza dell'umanità.

Sono sicuro che i giovani, che rappresentano il nostro futuro, sono affascinati da questa sfida, che presuppone un grande impegno e coraggio, e ha il sapore di un'affascinante avventura. A loro è dedicato il nostro modesto Premio Raduga, giunto alla sua quarta edizione, con il desiderio di spronarli ad affermare e vivere autentici ideali e genuini valori morali.

Антонио Фаллико
Президент Ассоциации «Познаём Евразию»

Экономический и социальный кризис, на протяжении нескольких лет терзающий нашу планету, не ослабляет хватку. В разных частях света число безработных и малоимущих продолжает расти. Не составляют исключение и так называемые развитые страны – Италия, Франция, Германия, где наблюдается заметное падение уровня жизни, приводящее к массовым волнениям и протестам. Пока что экономический и финансовый кризис не затронул страны БРИКС, в том числе и Россию. Тем не менее, и здесь проявляются первые симптомы усталости и снижения темпов экономического развития. Не исключено, что всеобщий экономический, социальный и духовно–нравственный кризис в ближайшее время коснется и этих стран.

Чтобы остановить процесс, который зашел слишком далеко и кажется необратимым, необходимо коренным образом изменить сознание, нужна революция – ментальная, культурная и нравственная. В первую очередь, деньги вновь должны стать простым орудием, а не абсолютной целью нашей жизни; производимые богатства следует перераспределять среди всех членов общества, они не могут принадлежать кучке плутократов или олигархов.

Наша мечта, выражающая чаяния обычных людей во всем мире, – отнюдь не утопия. Это осуществимая задача, необходимое условие выживания человечества.

Я уверен, что молодежь, олицетворяющая наше будущее, с восторгом примет этот вызов, требующий большой ответственности и мужества, и вместе с тем похожий на захватывающее приключение. К молодым и обращена наша скромная Премия «Радуга», которая в этом году вручается в четвертый раз; ее задача – побудить молодых авторов к утверждению и претворению в жизнь подлинных идеалов, истинных моральных ценностей.

В заключение я благодарю тех, кто сделал возможным вручение премии «Радуга» на

Esprimo, infine, le mia gratitudine a coloro che hanno reso possibile in questi quattro anni la realizzazione del Raduga: l'Associazione Conoscere Eurasia, l'Istituto Letterario A.M. Gor'kij, l'Agenzia federale per la stampa e la comunicazione di massa della Federazione Russa, Rossotrudničestvo, l'Istituto Italiano di Cultura di Mosca, Banca Intesa e le case editrici Azbooka-Atticus e Feltrinelli. E spero che anche nel futuro possano continuare a sostenere questa nostra iniziativa.

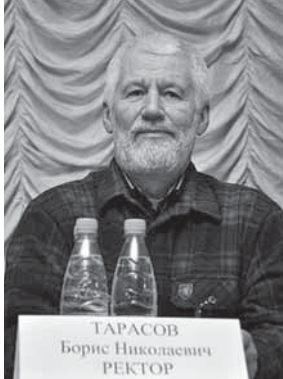
A handwritten signature in black ink, appearing to read "Feltrinelli". The signature is written in a cursive, flowing style with some loops and flourishes.

протяжении четырех лет: Ассоциацию «Познаём Евразию», Литературный институт им. А.М. Горького, Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям Российской Федерации, Россотрудничество, Итальянский Институт Культуры в Москве, ЗАО «Банк Интеза», издательскую группу «Азбука-Аттикус», издательство «Фельтринелли». Я надеюсь, что они и впредь будут поддерживать наше начинание.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Felice". The signature is written in a cursive style with a large, stylized initial "F".

Борис Тарасов

Ректор Литературного института им. А.М. Горького



Четыре года назад Литературный институт им. А.М. Горького с благодарностью принял предложение итальянской ассоциации «Познаём Евразию» учредить совместную российско-итальянскую премию «Радуга», ибо столь необходимое само по себе начинание в то же время целиком отвечает целям и задачам деятельности нашего института. Присуждение такой ежегодной премии для молодых писателей и переводчиков – особое и перспективное событие в литературной жизни России и Италии с разных точек зрения.

Жанр рассказа – один из самых сложных в литературе. Он требует от автора особой писательской емкости, когда при изображении единичного «горизонтального» события из жизни той или иной личности необходимо воплотить на нескольких страницах захватывающую читателя «вертикальную» общечеловеческую проблематику с помощью безошибочного отбора соответствующих психологических, исторических, бытовых и иных художественных деталей и нюансов. Российско-итальянская премия «Радуга» вносит свой вклад и в укрепление культурных связей между нашими народами, сохранение и развитие подлинного творчества в эпоху деградации истинных эстетических ценностей и господства массового искусства. В этом мы смогли убедиться, наблюдая заметное возрастание популярности премии и очевидное расширение географии – от Калининграда до Владивостока – ее соискателей. В текущем сезоне на конкурс поступило около четырехсот содержательно и художественно разнообразных работ не только из Москвы и Петербурга, Киева и Минска, Новосибирска и Томска, Омска и Оренбурга, Иркутска и Красноярска, Волгограда и Краснодара, Севастополя и Сочи, Уфы и Казани, Ростова и Одессы, Екатеринбург и

Boris Tarasov

Rettore dell'Istituto Letterario A.M. Gor'kij

Quattro anni or sono l'Istituto Letterario A.M. Gor'kij ha accolto con gratitudine la proposta dell'Associazione Conoscere Eurasia di istituire il Premio congiunto italo-russo Raduga. Infatti questa iniziativa, che di per sé ha un'eccezionale importanza, corrisponde pienamente agli scopi e agli obiettivi del nostro Istituto. La premiazione dei giovani scrittori e traduttori, che si svolge ogni anno, è un evento che – sotto vari punti di vista – ha grande rilievo e grande futuro nella vita letteraria dell'Italia e della Russia. Il genere del racconto è uno dei più complessi della letteratura. Richiede all'autore una particolare maestria nella scrittura: la rappresentazione di un unico evento “orizzontale” della vita di questa o quella persona deve incarnare, attraverso una manciata di pagine che travolgono il lettore, una problematica “verticale” universale. Ciò avviene grazie a una selezione perfetta di sfumature e adeguati elementi psicologici, storici, di vita quotidiana e altri tratti stilistici.

Il Premio italo-russo Raduga aiuta a rafforzare le relazioni culturali tra i nostri popoli, a promuovere e a tutelare l'autentica creatività in un'epoca in cui si assiste al degrado dei veri valori etici e al trionfo dell'arte di massa. Lo conferma il fatto che la popolarità del Premio è notevolmente cresciuta, così come si è estesa la sua geografia: i candidati provengono infatti da diverse regioni, da Kaliningrad a Vladivostok. Quest'anno abbiamo ricevuto circa 400 opere, molto diverse tra loro per quanto riguarda il contenuto e la forma, non solo da Mosca e San Pietroburgo, Kiev e Minsk, Novosibirsk e Tomsk, Omsk e Orenburg, Irkutsk e Krasnojarsk, Volgograd e Krasnodar, Sebastopoli e Soči, Ufa e Kazan', Rostov e Odessa, Ekaterinburg e Nižnij Novgorod, Murmansk e Arcangelo, Ul'janovsk e Saratov, Voronež e Jaroslavl', Tver' e Rjazan', Orël e Smolensk, ma anche da molte città e paesi di Ucraina, Bielorussia, Kazakistan, Kirghizistan, Moldavia, Tatarstan, Baškortostan, Ossezia Settentrionale-Alania, Buriazia, Hakassia, Jacu-

Нижегород, Мурманск и Архангельск, Ульяновск и Саратов, Воронеж и Ярославль, Тверь и Рязань, Орел и Смоленск, но из еще многих, самых разных городов и сел Украины, Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана, Молдавии, Татарстана, Башкортостана, Северной Осетии–Алании, Бурятии, Хакасии, Якутии, Калмыкии, Мордовии, Удмуртии, Алтайского и Пермского краев, Ленинградской и Московской областей и других районов многообразной России, а также из Италии, Турции, Тайланда. Подобное продвижение российско–итальянской премии «Радуга» не может не радовать и не вселять надежды, что молодые таланты найдут с ее помощью своих читателей и издателей, раскроют в дальнейшем новые грани своего творческого потенциала и займут достойное место в наших литературах.

A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, connected strokes that are difficult to decipher as specific letters.

zia, Calmucchia, Mordovia, Udmurtia, Regioni di Altaj e di Perm', Regioni di Leningrado e di Mosca, e da tante altre zone della nostra multiforme Russia, e persino dall'Italia, dalla Turchia e dalla Thailandia.

I progressi compiuti dal Premio Raduga non possono che rallegrare e dare la speranza che i giovani partecipanti possano trovare, grazie al suo aiuto, lettori ed editori, realizzando il proprio talento in tutte le sue potenzialità fino a occupare un posto meritevole nelle nostre letterature.

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'B' followed by a cursive name.

Raduga

Premio letterario italo-russo per giovani narratori e traduttori

Il Premio Raduga è alla sua quarta edizione. È nato con l'intento di rafforzare i rapporti culturali italo-russi e di valorizzare le opere di giovani narratori e traduttori, sia russi che italiani, dando loro la possibilità di trovare un editore e di confrontarsi, in tal modo, con un più ampio numero di lettori.

Il Premio si rivolge in modo particolare a quelle giovani voci che – attraverso una forma narrativa caratterizzata dalla consapevolezza stilistica – giungono a farsi interpreti della complessità e delle inquietudini dei nostri tempi.

L'*Almanacco letterario* dà spazio alle migliori tra le opere pervenute al Premio. Tutti i lavori sono pubblicati con traduzione a fronte – a opera di giovani traduttori russi e italiani – e sono seguiti da una nota critica e da una nota biografica.

Il volume viene distribuito in entrambi i Paesi al fine di far meglio conoscere il lavoro dei giovani narratori e traduttori.

Премия «Радуга»

Российско–итальянская литературная премия для молодых авторов «Радуга»

Перед вами четвертое издание литературного альманаха Премии «Радуга», которая была создана с целью укрепления российско–итальянских культурных связей и содействия молодым писателям и переводчикам из России и Италии, а также для того, чтобы дать возможность молодым талантам найти издателя и получить известность среди многочисленной читательской аудитории.

В первую очередь, Премия «Радуга» создавалась для молодых талантов, способных отразить в своем творчестве все сложности и тревоги нашего времени, найдя для этого стилистически точную форму.

В альманах включены произведения, которые жюри признало лучшими. Рассказы, биографии авторов и краткие рецензии публикуются на двух языках (переводы выполнены молодыми итальянскими и российскими переводчиками).

Литературный альманах распространяется в Италии и России. Его главная задача – познакомить читателей с творчеством молодых писателей и молодых переводчиков.

Albo d'oro del Premio Raduga

Prima edizione, 2010; *Almanacco letterario* 1

Giovani narratori italiani

Silvia Banterle, traduzione in russo di Marina Kozlova

Gabriele Belletti, traduzione in russo di Ol'ga Pozdneeva

Massimiliano Maestrello, traduzione in russo di Marija Sudilovskaja

Andrea Paolo Massara, traduzione in russo di Dar'ja Belokrylova

Paolo Valentino, traduzione in russo di Anastasija Golubcova

Giovani narratori russi

Ljudmila Eremeeva, traduzione in italiano di Francesca Lazzarin

Sergej Kubrin, traduzione in italiano di Maria Isola

Anna Ostrouchova, traduzione in italiano di Giulia Zangoli

Anna Remez, traduzione in italiano di Cinzia Benedetti

Bulgun Čimidova, traduzione in italiano di Alessia Cadeddu

Giovani narratori dell'anno: Massimiliano Maestrello e Sergej Kubrin

Giovani traduttori dell'anno: Giulia Zangoli e Ol'ga Pozdneeva

Победители и финалисты Премии «Радуга»

Литературный альманах 1 – 2010 год

Российские финалисты

Людмила Еремеева, перевод на итальянский язык Франчески Лаццарин
Сергей Кубрин, перевод на итальянский язык Марии Изола
Анна Остроухова, перевод на итальянский язык Джулии Дзанголи
Анна Ремез, перевод на итальянский язык Чинции Бенедетти
Булгун Чимидова, перевод на итальянский язык Алессии Кадедду

Итальянские финалисты

Сильвия Бантерле, перевод на русский язык Марины Козловой
Габриэле Беллетти, перевод на русский язык Ольги Позднеевой
Массимилиано Маэстрелло, перевод на русский язык Марии Судиловской
Андреа Паоло Массара, перевод на русский язык Дарьи Белокрыловой
Паоло Валентино, перевод на русский язык Анастасии Голубцовой

Победители в номинации «Автор года»: Сергей Кубрин и Массимилиано Маэстрелло
Победители в номинации «Лучший перевод»: Ольга Позднеева и Джулия Дзанголи

Albo d'oro del Premio Raduga

Seconda edizione, 2011; *Almanacco letterario 2*

Giovani narratori italiani

Alice Malerba, traduzione in russo di Jana Kidenko
Alessandro Metlica, traduzione in russo di Anastasija Golubcova
Leandro Miglio, traduzione in russo di Anna Fedorova
Fabio Mineo, traduzione in russo di Irina Artamonova
Daniele Tommasi, traduzione in russo di Marina Kozlova

Giovani narratori russi

Andrej Antipin, traduzione in italiano di Maria Isola
Natal'ja Nikolašina, traduzione in italiano di Alice Ghisi
Dmitrij Faleev, traduzione in italiano di Manuel Boschiero
Alëna Čurbanova, traduzione in italiano di Maria Gatti Racah
Sergej Šargunov, traduzione in italiano di Linda Torresin

Giovani narratori dell'anno: Alessandro Metlica e Sergej Šargunov
Giovani traduttori dell'anno: Maria Gatti Racah e Marina Kozlova

Победители и финалисты Премии «Радуга»

Литературный альманах 2 – 2011 год

Российские финалисты

Андрей Антипин, перевод на итальянский язык Марики Изола
Наталья Николашина, перевод на итальянский язык Аличе Гизи
Дмитрий Фалеев, перевод на итальянский язык Мануэля Боскиеро
Алёна Чурбанова, перевод на итальянский язык Марики Гатти Раках
Сергей Шаргунов, перевод на итальянский язык Линды Торрезин

Итальянские финалисты

Аличе Малерба, перевод на русский язык Яны Киденко
Алессандро Метлика, перевод на русский язык Анастасии Голубцовой
Леандро Мильо, перевод на русский язык Анны Федоровой
Фабио Минео, перевод на русский язык Ирины Артамоновой
Даниеле Томмази, перевод на русский язык Марины Козловой

Победители в номинации «Автор года»: Сергей Шаргунов и Алессандро Метлика
Победители в номинации «Лучший перевод»: Марина Козлова и Мария Гатти Раках

Albo d'oro del Premio Raduga

Terza edizione, 2012; *Almanacco letterario* 3

Giovani narratori italiani

Paola Manuela Battaglia, traduzione in russo di Anna Fedorova
Guido Del Duca, traduzione in russo di Anastasija Golubcova
Federica Di Rosa, traduzione in russo di Marija Sudilovskaja
Olga Paltrinieri, traduzione in russo di Tat'jana Bystrova
Silvia Valentini, traduzione in russo di Anastasija Klepikova

Giovani narratori russi

Ekaterina Brjuchova, traduzione in italiano di Linda Torresin
Jurij Lunin, traduzione in italiano di Alessandro Bonomelli
Dmitrij Nikitin, traduzione in italiano di Simona Nicoli
Ksenija Romanova, traduzione in italiano di Giorgia Pomarolli
Èl'vira Farnieva, traduzione in italiano di Alessandra Fiandra

Giovani narratori dell'anno: Federica Di Rosa e Jurij Lunin
Giovani traduttori dell'anno: Giorgia Pomarolli e Tat'jana Bystrova

Победители и финалисты Премии «Радуга»

Литературный альманах 3 – 2012 год

Российские финалисты

Екатерина Брюхова, перевод на итальянский язык Линды Торрезин
Юрий Лунин, перевод на итальянский язык Алессандро Бономелли
Дмитрий Никитин, перевод на итальянский язык Симоны Николи
Ксения Романова, перевод на итальянский язык Джорджии Помароли
Эльвира Фарниева, перевод на итальянский язык Алессандры Фиандра

Итальянские финалисты

Паола Мануэла Батталья, перевод на русский язык Анны Федоровой
Гвидо Дель Дука, перевод на русский язык Анастасии Голубцовой
Федерика Ди Роза, перевод на русский язык Марии Судиловской
Ольга Пальтриньери, перевод на русский язык Татьяна Быстрова
Сильвия Валентини, перевод на русский язык Анастасии Клепиковой

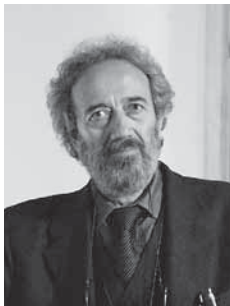
Победители в номинации «Молодой автор года»: Юрий Лунин и Федерика Ди Роза
Победители в номинации «Молодой переводчик»: Татьяны Быстровой и Джорджия Помаролли

Giuria italiana
Итальянское жюри



Adriano Dell'Asta (Cremona, 1952), professore di Lingua e letteratura russa all'Università Cattolica di Brescia e di Milano, è attualmente direttore dell'Istituto Italiano di Cultura di Mosca. Accademico della Classe di Slavistica dell'Accademia Ambrosiana, ha pubblicato oltre un centinaio di contributi scientifici e ha partecipato a numerosi convegni e seminari.

Адриано Дель Аста (Кремона, 1952), профессор русского языка и литературы Католического Университета г. Милана и Университета г. Брешиа. В настоящее время директор Итальянского института культуры в Москве. Член Accademia Ambrosiana (класс славистики), опубликовал более ста научных работ.



Flavio Ermini (Verona, 1947), poeta e saggista, è autore di numerosi volumi in Italia e in Francia. Dirige la rivista letteraria "Anterem". Fa parte del comitato scientifico di "Osiris" (Università di Deerfield, Massachusetts) e degli "Amici della Scala" di Milano. Dirige la collana di filosofia "Narrazioni della conoscenza" (Moretti&Vitali).

Флавио Эрмини (Верона, 1947), поэт и критик, опубликовал много книг в Италии и во Франции. Редактор литературного журнала «Anterem». Является членом научного комитета «Osiris» и членом миланской ассоциации «Amici della Scala». Руководитель философской серии «Narrazioni della conoscenza» (издательство Моретти & Витали).



Inge Feltrinelli (Essen, 1930), presidente della Giuria italiana, presidente della Giangiacomo Feltrinelli Editore, presidente onorario delle oltre 100 Librerie Feltrinelli. Vicepresidente della holding finanziaria EFFE. È stata nominata Cavaliere dell'Ordine al merito della Repubblica Italiana e della Repubblica Federale di Germania. Commandeur dans l'Ordre des Arts et des Lettres nella Cultura francese. È membro dell'Accademia Europea di Yuste (seggio "Clara Zetkin").

Инге Фельтринелли (Эссен, 1930), председатель итальянского национального жюри, Президент Издательства Джанджакомо Фельтринелли, Почетный президент сети книжных магазинов «Librerie Feltrinelli». Награждена орденами «Cavaliere dell'Ordine al Merito della Repubblica» в Италии, «Commandeur dans l'Ordre des Arts et des Lettres» во Франции. Член Европейской академии Yuste.



Sebastiano Grasso (Catania, 1947), poeta e giornalista. Ha pubblicato una decina di libri di poesia, tradotti in molte lingue. È presidente del Pen Club Italia. Dopo l'insegnamento universitario di Letteratura italiana per un biennio, dal 1971 vive a Milano; attualmente è inviato speciale e responsabile dell'Arte del "Corriere della Sera".

Себастьяно Грассо (Катания, 1947), поэт и журналист. Опубликовал десяток книг стихов, переведенных на многие языки. Председатель Pen Club Italia. Два года преподавал итальянский язык и литературу в университете. С 1971 года живет в Милане, в настоящее время является редактором рубрики «Искусство» газеты «Corriere della Sera».



Maria Pia Pagani (Pavia, 1975), docente dell'Università di Pavia, è autrice di libri e saggi scientifici sul teatro russo e i suoi legami con la cultura spirituale ortodossa. Vincitrice del Premio Giovani Ricercatori in ricordo di Maria Corti (2003), del Premio Cesare Angelini (2004), del Premio Foyer des Artistes (2006) e altri. È la traduttrice italiana di Michail Berman-Cikinovskij.

Мария Пиа Пагани (Павия, 1975), преподаватель Университета г. Павия, автор книг и научных статей о русском театре и его связи с духовной православной культурой. Лауреат Премии для молодых ученых им. Марии Корти (2003), Премии им. Чезаре Анджелини (2004) и ряда других. Итальянская переводчица Михаила Бермана-Цикиновского.



Sergio Pescatori (Venezia, 1941), professore a contratto di Lingua e letteratura russa dell'Università di Verona. Ha lavorato in varie Università italiane. Si è occupato di linguistica, di traduzione, di letteratura. Ha curato un volume su Brodskij (atti del Convegno di Venezia, 2000) e uno sullo studio del russo in Europa (Convegno di Verona, 2005).

Серджо Пескатори (Венеция, 1941), преподает на Факультете иностранных языков и литератур Университета г. Вероны. Преподавал русский язык и литературу в разных итальянских университетах. В круг его интересов входят языкознание, литература, занимается также теорией перевода. Под его редакцией вышли материалы конференций о Иосифе Бродском (Венеция, 2000 год) и о русском языке в Европе (Верона, 2005 год).

Российское жюри Giuria russa



Алексей Николаевич Варламов. Писатель, филолог. Доктор филологических наук, профессор, преподаватель Литературного института имени А.М. Горького и МГУ имени М.В. Ломоносова. Лауреат Премии Александра Солженицына, Премии «Большая книга» и ряда других. Член Совета по культуре при Президенте РФ. Главный редактор журнала «Литературная учеба».

Aleksej Nikolaevič Varlamov. Scrittore, filologo. Professore ordinario, docente dell'Università Statale di Mosca M.V. Lomonosov e dell'Istituto Letterario A.M. Gor'kij. Ha ottenuto il Premio Aleksandr Solženicyn, il Premio Bol'shaja kniga e altri. Membro del Consiglio per la cultura presso il Presidente della Federazione Russa. Direttore della rivista "Literaturnaja učeba".



Нина Сергеевна Литвинец. Издатель, литературовед, переводчик. Кандидат филологических наук. Программный директор Института перевода, член Наблюдательного совета. Заслуженный работник культуры РФ. В последнее время выступает также как прозаик. Публиковала рассказы в журналах «Октябрь» и «Знамя». Книга для детей «Меня зовут Аглая» опубликована в издательстве «Время» в 2013 г.

Nina Sergeevna Litvinec. Editore, critico letterario, traduttore. Direttore programmatico e membro del Comitato Direttivo dell'Istituto della Traduzione. Lavoratore emerito della cultura della Federazione Russa. Di recente ha cominciato a occuparsi di narrativa, pubblicando racconti sulle riviste letterarie "Oktjabr" e "Znamja". Nel 2013, presso la casa editrice Vremja, è uscito il libro per bambini *Mi chiamo Aglaja*.



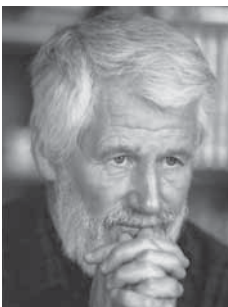
Пастернак Елена Леонидовна. Лингвист, переводчик. Доктор филологических наук, доцент филологического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова. Президент фонда имени Б. Л. Пастернака.

Elena Leonidovna Pasternak. Linguista, traduttore. Professore della Facoltà di Filologia all'Università Statale M.V. Lomonosov di Mosca. Presidente della Fondazione Boris Pasternak.



Евгений Михайлович Солонович. Поэт, переводчик. Профессор Литературного института имени А.М. Горького, почетный профессор Сиенского университета, почетный доктор Римского университета «Сапиенца». Лауреат премии «Мастер» Союза «Мастера литературного перевода», Государственной премии Италии в области художественного перевода, премии Монтале, премии Монделло и ряда других российских и итальянских премий.

Evgenij Michajlovič Solonovič. Poeta, traduttore. Professore ordinario dell'Istituto Letterario A.M. Gor'kij. Laurea honoris causa dell'Università di Siena, dottorato honoris causa dell'Università di Roma La Sapienza. Ha ottenuto il Premio Master dell'Unione dei maestri della traduzione letteraria, il Premio Nazionale per la traduzione (Italia), il Premio Montale, il Premio Mondello e altri riconoscimenti russi e italiani.



Борис Николаевич Тарасов. Доктор филологических наук, профессор, ректор Литературного института имени А. М. Горького. Заслуженный деятель науки РФ, академик Международной академии наук (Инсбрук). Лауреат Бунинской премии, Премии имени Ф. М. Достоевского, Премии Правительства Москвы и ряда других.

Boris Nikolaevič Tarasov. Professore ordinario, rettore dell'Istituto Letterario A.M. Gor'kij. Scienziato emerito della Federazione Russa, membro dell'Accademia Internazionale delle Scienze (Innsbruck, Austria). Ha ottenuto il Premio

Ivan Bunin, il Premio Fëdor Dostoevskij, il Premio del Governo di Mosca e altri.



Анна Владиславовна Ямпольская. Переводчик, филолог. Кандидат филологических наук, PhD (Università di Firenze). Доцент Литературного института имени А.М. Горького. Удостоена Серебряного гонфалона области Тоскана за исследования по итальянистике и Премии имени Н. В. Гоголя в Италии за перевод. Совместно с М. Динелли опубликовала книгу рассказов «Ленин. От "Правды" к "Прада"» (Милан, 2008.)

Anna Vladislavovna Jampol'skaja. Professore associato di Lingua e letteratura italiana all'Istituto Letterario A.M. Gor'kij. Ha ottenuto il Gonfalone d'argento della Regione Toscana per le sue ricerche di italianistica e il Premio N.V. Gogol' in Italia per la traduzione. In collaborazione con M. Dinelli ha pubblicato il volume di racconti *Lenin. Dalla Pravda a Prada: storie di una rivoluzione*, TEA, Milano 2008.

GIOVANI NARRATORI ITALIANI
МОЛОДЫЕ ИТАЛЬЯНСКИЕ ПИСАТЕЛИ

Nicola Carboni	Никола Карбони
Fabio Chiriatti	Фабио Кирьятти
Michele Grignaffini	Микеле Гриньяффини
Marta Manfioletti	Марта Манфьолетти
Sabrina Sansalone	Сабрина Сансалоне

Nicola Carboni

Traduzione in russo di Marija Volodina

Никола Карбони

Перевод Марии Володиной



UN'IMMAGINE RIFLESSA

“Ci sono parole che pesano come macigni; parole leggere come il volo di una libellula, parole che graffiano; parole che gridano, parole aggraziate come cigni, parole che fanno male a chi le legge e a chi le scrive. Parole che si dicono per nascondere, parole che si dicono per noia, parole che si dicono per abitudine, parole. Parole. Niente altro che parole. Pietrificazioni di un processo, glorificazione di una sconfitta. Come poter riassumere in una parola ciò che sento, ciò che provo? Non voglio una parola qualsiasi. Mi serve proprio quella parola e so che comunque sarà sbagliata. Sbagliata per chi la legge. E per chi la scrive. Tra me e la parola esiste una separazione infinita. E per chi la legge una separazione infinita di secondo, terzo, quarto grado. È impossibile – impossibile – scrivere. Tanto meno comprendersi”. Di fronte al foglio bianco sentiva sempre una sorta di vortice che lo trascinava verso abissi inesplorati del suo pensiero. Il foglio vergine per lui era la Potenza al suo massimo grado. Materia molle, plasmabile in cui vi era tutto e nulla. Poteva diventare un grandissimo poema come il libretto di istruzioni di un depilatore elettrico. Le parole erano gli strumenti con i quali cesellava quelle infinite possibilità che si presentavano come cocci di un vaso andato in frantumi. E ogni volta si sentiva in colpa verso se stesso e verso quelle possibilità che aveva scartato. Quale diritto aveva di giudicare? Frutto di possibilità, si ergeva a supremo giudice di altre possibilità. Trascinare quella croce stava diventando insopportabile; il suo talento, una condanna. Le lacrime scendevano ed erodevano il suo volto di roccia, il cuore batteva perversamente al ritmo di una atavica cerimonia sciamanica.

Accarezzava quel foglio bianco come il viso di una donna; giocherellava con la penna, tracciava linee e cerchi in maniera assente aspettando il momento in cui il gomito delle possibilità si sbrogliasse e gli fosse ben visibile quale filo seguire per addentrarsi in un giusto sentiero. Un attimo di piena luce in cui tutto era semplice e chiaro; allora le parole potevano sgorgare e lui poteva abbeverarsi da quella fonte per dimenticarsi di sé e diventare solo uno strumento delle parole che reclamavano una vita propria. “Per agire bisogna illudersi – era solito ripetersi – e credere che sia vero. Obliarsi ma non del tutto, altrimenti sarebbe impossibile tornare indietro. Un mettersi tra

ОТРАЖЕНИЕ

«Есть слова тяжелые, как каменные глыбы, и легкие, как полет стрекозы; слова пронзительные, слова надрывные, слова изящные, как лебеди; слова, ранящие тех, кто их читает, и тех, кто их пишет. Слова, хранящие тайну, слова, произносимые от скуки или по привычке. Слова. Всего лишь слова. Окаменелости процесса, восхваление неудачи. Можно ли одним словом выразить все то, что я чувствую? И не просто любим, первым попавшимся словом. Мне нужно именно то слово, хотя я знаю, что и оно будет неверным. Неверным для того, кто его прочтет. И для того, кто его напишет. Между мной и словом – непреодолимое расстояние. Между словом и тем, кто его читает, – непреодолимое расстояние во второй, в третьей, в четвертой степени. Писать невозможно. Невероятно. И уж тем более постичь смысл написанного». Перед чистым листом бумаги он всякий раз испытывал такое чувство, будто вихрь уносит его в неизведанную бездну мыслей. Пустой лист был для него верхом Могуущества. Мягкой, податливой материей, в которой было все и не было ничего. Он мог стать как величайшей поэмой, так и инструкцией по пользованию электрическим эпилятором. Слова были инструментами, которыми он чеканил бесконечные возможности, казавшиеся ему осколками вдребезги разбившейся вазы. И всякий раз он испытывал чувство вины перед самим собой и перед отвергнутыми им возможностями. Был ли он вправе судить? Плод одной возможности, как верховный судья, возносился над другими возможностями. Нести этот крест становилось невыносимо, он был наказан талантом. Слезы разъедали его каменное лицо, сердце билось в зловещем ритме атавистического шаманского обряда. Он прикасался к листу трепетно, как к лицу женщины; поигрывал ручкой, рассеянно чертил круги и линии, ожидая того момента, когда клубок возможностей распутается и он поймет, какую путеводную нить выбрать. В момент полного просветления все становилось простым и ясным; слова начинали бить ключом, и он мог наконец утолить свою жажду, забыться и стать всего лишь орудием слов, претендовавших на самостоя-

parentesi”. La luce dell’illusione era ciò che gli permetteva di scrivere, dare vita a quanto aveva in sé sotto forma di immagini, sensazioni, ricordi fluidi e trasformarli in qualcosa di solido, ieratico, estraneo, consegnato al giudizio e alla perdita dell’innocenza. Pensava che solo da un ineffabile dolore potesse nascere qualcosa di nostalgicamente nuovo. Era necessario, però, saper giocare su un filo sottile, fra l’obliarsi e il perdersi. Sapeva esattamente quanto quel gioco fosse pericoloso e i rischi del perdersi completamente in sé, trasfigurandosi in qualcosa di indefinito. A tale scopo, ogni volta che scriveva, metteva in scena una sorta di rituale fatto di piccoli gesti, di oggetti disposti ad arte sulla sua scrivania. Tutto doveva compiersi con un ordine preciso, una sequenza che non poteva variare, pena la perdita di quell’alone mistico rassicurante a cui si aggrappava in maniera così fanciullesca. Su tutto troneggiava uno specchio. Questo era il suo talismano. Quando si offriva in sacrificio alle parole e l’oblio stava per prendere il sopravvento, guardava la sua immagine riflessa e, riconoscendosi, affermava con sollievo: “Questo è il mio corpo” e poteva riconsegnarsi alla solida realtà fatta di oggetti distinti, di socialmondane sicurezze. Posava la penna e tutto riacquistava contorni definiti. Il cuore smetteva di urlare, il respiro diventava più leggero; rimanevano solo le parole a cui aveva dato vita e che guardava con risentimento come a qualcosa di irrimediabilmente perso. Ma quel giorno non riuscì a riconoscersi. Quella faccia consumata dal troppo pensare non poteva essere sua. Quegli occhi persi. Quei capelli bianchi. Non poteva essere lui. Provava orrore per il riflesso di quella persona. Eppure gli sembrava di muovere la mano e la figura nello specchio muoveva la mano. Gli sembrava di toccarsi il naso e la figura nello specchio si toccava il naso. Tutto questo era assurdo. Nulla è più strano e più folle della vita reale e, in fondo, il poeta può afferrare la vita solo come un pallido riflesso di uno specchio opaco. A volte gli specchi possono essere concavi o convessi e l’immagine ne viene deformata, anche se il più delle volte non è un difetto dello specchio. Guardava con occhi nuovi quella realtà che non gli apparteneva più e si stupiva di non riconoscere nulla. Che nome aveva quella cosa che teneva tra le mani e che tremava in maniera così meccanica, armonicamente al suo timore? Era appoggiata a un’altra cosa dove vi erano dei segni. “Ci sono parole che pesano come macigni”. Cosa sono le parole? Cosa sono i macigni? Aveva paura di rispondere a quelle domande. “Un segreto immane si scioglierebbe. Tutti i lacci sarebbero sciolti. Ma non potrei sopportare questo peso. Forse è colpa di quell’immagine che mi guarda dentro quella cosa

тельную жизнь. «Чтобы действовать, нужно предаться иллюзиям и поверить в них, – часто повторял он. – Забыться, но не полностью, иначе будет невозможно вернуться назад. Ненадолго отвлечься от действительности». Иллюзия позволяла ему писать, производить на свет то, что он носил в себе в виде образов, ощущений, изменчивых воспоминаний; воплощать их в чем-то прочном, священном, инородном, выставленном на всеобщий суд и обозрение, приговоренном к потере невинности. Только неопишуемая боль может дать жизнь чему-то ностальгически новому, думал он. Однако для этого нужно было уметь балансировать на тонкой нити между забытием и потерей себя. Он ясно осознавал всю опасность этой игры, риск заблудиться в самом себе, превратиться во что-то неопределенное. Именно поэтому, начиная писать, он всякий раз совершал нечто вроде ритуала, состоявшего из простых жестов и предметов, заранее расставленных на письменном столе. Все должно было выполняться в определенном порядке, в одной и той же последовательности, иначе исчез бы тот успокоительный ореол таинственности, за который он так по-мальчишески хватался. Над всем этим царило зеркало. Это был его талисман. Когда он приносил себя в жертву словам, и забытие начинало брать над ним верх, он смотрел на свое отражение и, узнав себя, произносил со вздохом облегчения: «Сие есть тело мое», возвращаясь в привычную действительность знакомых предметов и общепринятых убеждений. Он откладывал ручку, и все вокруг обретало ясные очертания. Сердце переставало колотиться, дыхание успокаивалось; оставались только рожденные им слова, на которые он смотрел с сожалением, как на что-то безвозвратно утраченное.

Но однажды он не узнал себя. Это лицо, изможденное слишком многими мыслями, не могло быть его лицом. Потерянный взгляд. Седые волосы. Это не мог быть он. Отражение этого человека ужасало его. И все же ему казалось, что когда он шевелил рукой, то и фигура в зеркале шевелила рукой. Он прикоснулся к носу, и фигура в зеркале тоже прикоснулась к носу. Все это было абсурдно. Нет ничего более странного и бессмысленного, чем реальная жизнь, а ведь, по сути, поэт может постичь жизнь всего лишь как бледное отражение в тусклом зеркале. Иногда зеркала бывают вогнутыми и выпуклы-

che riflette e rende doppio un unico stupore. Che tu sia maledetta poiché hai fatto questo! Moltiplica i tuoi dolori e le tue gravidanze! Io ti scaccio da qui!” E gridando gettò lo specchio con tutta la sua forza e il pavimento della stanza si coprì di centinaia di immagini. Tutte puntavano l’indice e ridevano di lui. Provò a tapparsi le orecchie perché quella risata era onnipresente, ma tutte le immagini lo scimmiottavano imitando i suoi gesti in ogni minimo dettaglio. Ma cosa stavano facendo quelle immagini? Si erano inginocchiate e stavano piangendo e si stupì di essere inginocchiato e di stare piangendo. Stava scimmiottando i loro i gesti in ogni minimo dettaglio. Loro si alzavano e lui si alzava. Loro iniziavano a danzare e lui iniziava a danzare. Loro ripresero a ridere e lui riprese a ridere. E a quella risata partecipavano tutti: lui, le immagini, le cose presenti nella stanza e tutti danzavano e si contorcevano e si dimenavano e mille voci gridavano in una sola voce: “Il tutto è tutto, il niente è niente. Il folle danza la sua allegra danza di morte e il cuore batte. TUM-TUM/TUM-TUM-. TUMefatto con il cuore in TUMulto ti trascini TUMido nel tuo TUMulo e un leggero vento FRRRRRRRRRRRRR scompiglia fresche fronde e fradice fresche. O siiiiiiiiiiiiii è tutto chiiiiiiiiiiaro come la notte! È tutto OOOScuro cOOOOme il giOOOOOrno.TUM-TUM-TUM-TUM. Il mio capolavoro per voi, Signore e Signori. Vi ritroverete, vi riperderete, vi sorprenderete, vi ammalierete, vi ammalere. Finiremo tutti con una mela ammuffita dentro la schiena. TUM-TUM-TUM-TUM. A voi, a voi il mio capolavoro”. Danzarono fino a quando tutto si fece vortice. Il suo capolavoro ultimato: un foglio bianco.

ми, и тогда отражения в них искажаются, хотя это и не всегда происходит по вине зеркала. Он смотрел на не принадлежавшую ему больше действительность новыми глазами и удивлялся тому, что ничего не узнавал. Как называется предмет, так механически дрожащий в его руках в такт страху? Он лежал на другом предмете, покрытом какими-то знаками. «Есть слова тяжелые, как каменные глыбы». Что такое слова? Что такое глыбы? Он боялся ответов на эти вопросы. «Раскрылась бы великая тайна. Развязались бы все узлы. Но я не выдержу тяжести этого груза. Быть может, виновата фигура, смотрящая на меня изнутри этой вещи, отражающей и удваивающей мое изумление? Будь ты проклята за то, что ты сделала! Умножь скорбь свою в беременности своей! Изыди прочь!» С криком он изо всех сил отбросил от себя зеркало, и пол комнаты покрылся сотнями отражений. Все они смеялись, тыча в него пальцами. Он попытался заткнуть уши, чтобы не слышать их всепроникающего смеха, но отражения передразнили его жесты во всех малейших подробностях. Но что же они делают? Они стояли на коленях и плакали, и, к своему удивлению, он тоже плакал, стоя на коленях. Он передразнивал их жесты во всех малейших подробностях. Они встали на ноги, и он встал на ноги. Они затанцевали, и он затанцевал. Они засмеялись, и он засмеялся. Смеялись все – он, отражения, вещи, находившиеся в комнате, – все они танцевали, корчились, метались, и тысячи голосов кричали в один голос: «Все есть все, ничто есть ничто. Безумец танцует свою веселую пляску смерти, и его сердце бьется. ТУК–ТУК–ТУМ–ТУМ. Твое сердце ТУМанится, ТУКает ТУК за ТУКом, и ты медленно тащишься в свою могилу; легкий ветер – Ш–Ш–Ш–Ш–Ш–Ш–Ш–Ш – шелестит свежей листвой и влажной травой. О да, вокруг свеееееееетло, как ночью! КругОООм темнОООО, как днем. ТУК–ТУК–ТУМ–ТУМ. Вот вам мой шедевр, дамы и господа. Вы найдете, вы потеряетесь, вы удивитесь, вы очаруетесь, вы разочаруетесь. Всем нам уготовано гнилое яблоко в спине. ТУК–ТУК–ТУМ–ТУМ. Вот он, вот он мой шедевр». Они танцевали до тех пор, пока все не превратилось в один сплошной вихрь. Он закончил свой шедевр – чистый лист.

Nota critica

Scrivere. Mettersi al cospetto di un nuovo evento, fatto di parole. Confrontarsi con un'altra realtà, una realtà riflessa, linguistica, da tenere sotto controllo, da plasmare a piacimento: uno specchio, insomma, dove chi scrive può vedersi riflesso. Dove chi scrive vede ripetersi i propri gesti.

Questo racconto è un'indagine sul gesto di chi scrive, quando chi scrive si offre "in sacrificio alle parole", entra in un'altra realtà, ma con la certezza di ritornare alla fine alle proprie sicurezze. E davvero è questo che normalmente succede a chi scrive.

E se il ritorno non avvenisse? *Un'immagine riflessa* prova a considerare questa ipotesi. In effetti un giorno potrebbe accadere un fatto strano, ci racconta Nicola Carboni. La finzione delle parole potrebbe diventare dominante rispetto alla realtà di chi scrive. Allora lo specchio andrebbe in frantumi; chi scrive subirebbe una metamorfosi: si trasformerebbe in un insetto ("con una mela ammuffita dentro la schiena", com'era accaduto al kafkiano Samsa); chi scrive si ritroverebbe a essere lui stesso un riflesso dello specchio andato in frantumi. Uno specchio del foglio bianco.

Nell'atto della scrittura, sotto gli occhi del narratore si mette a vivere qualcosa. Ma non è senza rischio la nominazione.

Quando parliamo o scriviamo, quando il desiderio del dire si fa bruciante, dobbiamo essere consapevoli della potenza delle parole. Dobbiamo sapere che abissale può farsi la follia del racconto.

L'uomo non è in grado di comprendere fino in fondo la natura della nominazione. Nominare per narrare significa cogliere l'essenza delle cose, renderle vive, sottrarle a ogni dominio e dar loro autonomia. Chi scrive incorre nel pericolo di essere a sua volta strappato violentemente dai suoi contesti abituali; tanto che il suo incessante errare tra le cose da nominare può portarlo a perdersi tra esse.

Flavio Ermini

Отзыв о рассказе

Писать. Присутствовать при возникновении чего-то нового, созданного из слов. Столкнуть с иной реальностью – отраженной, языковой, требующей контроля и легко поддающейся лепке, – одним словом, с зеркалом, в котором пишущий видит свое отражение, повторение своих жестов.

Этот рассказ исследует поведение пишущего человека в тот момент, когда он *приносит себя в жертву словам*, переносится в иную реальность, зная, что в конце концов вернется в привычную действительность. Как правило, с теми, кто пишет, так и происходит.

А что если возвращение станет невозможным? В самом деле, однажды может случиться нечто странное, – рассказывает нам автор «Отражения» Никола Карбони. Словесный вымысел может возобладать над действительностью того, кто пишет. В тот момент зеркало разлетится вдребезги, а с пишущим произойдет метаморфоза: он превратится в насекомое (как Грегор Замза, «с гнилым яблоком в спине»). Тот, кто пишет, станет отражением разбившегося вдребезги зеркала. Зеркально-чистым листом.

В процессе письма на глазах у повествователя рождается новое. Однако номинация сопряжена с риском.

Когда потребность высказаться – устно или письменно – становится невыносимой, мы должны отдавать себе отчет в том, каким могуществом обладает слово. Какой бездонной пропастью может стать безумие повествования.

Человек не способен до конца постичь природу номинации. Называть предметы и явления, повествовать о них – значит проникнуть в их суть, вдохнуть в них жизнь, раскрепостить, позволить им стать самостоятельными. В свою очередь, пишущий сталкивается с опасностью быть настолько грубо вырванным из привычного контекста, что его постоянное блуждание среди неназванных реалий может кончиться тем, что он в них окончательно заблудится.

Флавио Эрмини

Biografia

Nicola Carboni (Sanremo, 1981). Fino ai 19 anni è vissuto a Ventimiglia; dopo il conseguimento del diploma si è trasferito a Pisa, dove si è iscritto alla Facoltà di Filosofia. Ha frequentato due master post-laurea in Comunicazione pubblica e politica e Sviluppo delle risorse umane. Le sue esperienze lavorative vertono tutte sul ramo della comunicazione. Vive a Pisa.

Биография

Никола Карбони родился в 1981 г. в Сан-Ремо. Первые девятнадцать лет своей жизни провел в Вентимилье. После окончания лицея поступил на философский факультет Пизанского университета. Окончил магистратуру по двум специальностям: «Социальная и политическая коммуникация» и «Развитие человеческих ресурсов». Работает в сфере коммуникаций. Живет в Пизе.

Fabio Chiriatti

Traduzione in russo di Valentina Kučerovskaja-Marcevaja

Фабио Кирьятти

Перевод Валентины Кучеровской-Марцевой



MAPPUGGHJE¹

Una si sveglia una mattina, si guarda intorno e pensa: questa sono io, questo è il mio corpo, questo è quello che ho per vivere, questa sono sempre stata io, io sarò per sempre questa. Io a volte devo controllare di esserci tutta, ma tutta davvero. Perché se un giorno non mi trovassi più, non saprei dove andarmi a cercare, in quale cassetto, in quale armadio, in fondo a quale scatola potrei cercarmi. Ammesso di essere in grado di andare da qualche parte. Se un giorno perdessi una mano me ne accorgerei subito. A volte lo faccio, per esercitarmi. Se un giorno, mentre una se ne sta lì, si accorge di aver perso una gamba, allora è difficile che si possa ricordare dove l'ha messa, perché muoversi diventerebbe complicato. E più passa il tempo più il ricordo si farebbe lontano, confuso, finché ti alzi convinta di essere sempre stata così, senza una gamba, e non ricordandotene più, non potresti sentirne la mancanza. Non te ne accorgeresti più di essere rimasta senza, sarebbe normale, non ti chiederesti nemmeno perché i pantaloni hanno spazio per due gambe. Cosa vuoi che importi a una dei pantaloni quando si è dimenticata di aver avuto due gambe? Una si reinventa! Prendi il caffè. In se e per sé, è una cosa della quale una può anche fare a meno, ma una mattina ti svegli e ti trovi a pensare a tutti quei caffè che potresti non aver preso, perché magari eri impegnata in altro, perché magari pensavi al caffè come a un premio da meritare. Una mattina ti alzi e ti scopri a desiderare di bere quanti più caffè riesci, senza star lì a contare quanto tempo passi tra un caffè e l'altro. Un caffè ogni volta che uno ne ha voglia. Scegli le tazzine, il piattino, non per forza in coordinato, anzi, quando succede di avere un piattino rosso e una tazzina blu, mi sembra sempre un'enorme possibilità. Che cucchiaino abbini a una tazzina blu e a un piatto rosso?

¹ Nel dialetto salentino le *Mappughje* sono le carabattole, le cose di poco conto. (N.d.A.)

ПУСТЯШКИ¹

Однажды утром она просыпается, осматривается и думает: это я, это мое тело, это то, с чем я живу, то, чем я всегда была, то, чем я всегда буду. Иногда мне нужно удостовериться, что я здесь вся, на самом деле вся. Потому что если бы однажды я обнаружила, что меня тут больше нет, я бы не знала, куда идти и где себя искать – в каком ящике, в каком шкафу, на дне какой коробки. При условии, что я вообще смогла бы куда-то пойти. Если бы однажды я потеряла руку, я бы сразу заметила пропажу. Иногда я так делаю, для тренировки. Если бы однажды, пока ты тут лежишь, ты поняла, что потеряла ногу, трудно было бы вспомнить, куда ты ее подевала, ведь передвигаться было бы трудно. И чем больше проходило бы времени, тем более далеким, расплывчатым становилось бы воспоминание, до тех пор пока ты бы не поднялась с кровати в полной уверенности, что всегда была такой, одноногой, а о второй ноге ты бы и не вспомнила, поскольку не заметила бы ее отсутствие. Ты бы уже не обращала внимания на то, что осталась без ноги, это казалось бы нормальным, ты бы даже не задавалась вопросом, зачем в брюках место для двух ног. Какие уж тут брюки, если ты забыла, что у тебя имелись две ноги? Можно придумать себя заново! Ты пьешь кофе. По большому счету, без этого можно было бы обойтись, но однажды утром ты просыпаешься и ловишь себя на мысли о всех чашечках кофе, которые ты могла и не выпить, может, потому что ты была бы занята другими делами, а может, потому что ты думала о кофе как о награде, которую нужно заслужить. Однажды утром ты встаешь и понимаешь, что хочешь выпить столько кофе, сколько сможешь, и не считать при этом, сколько времени проходит между одной чашкой кофе и следующей. Чашечка кофе всякий раз, как захочется. Ты перебираешь чашечки, выбираешь блюдце, совсем не заботясь об их сочетании,

¹ На диалекте Саленто *Mappughje* – незначительные вещи. (примеч. автора)

Per comodità una potrebbe prendere dei servizi tutti uguali, magari tutti bianchi, magari con i cucchiaini colorati, così per spezzare un po', ma io preferisco i servizi spaiati. Ma vuoi mettere quella gradevole sensazione di lieve imbarazzo, magari davanti a un ospite, magari anche importante, magari sei lì, con tutte queste tazze tutte spaiate e ti trovi a bere il caffè, come fai di solito, come fosse la cosa più naturale di questo mondo. È la possibilità di una scoperta. Come capire che scarpe mettere la mattina. Davanti allo specchio mi guardo, faccio le prove e cerco di capire: tacco alto, basso, sandali, alla schiava, espadrillas, ballerine, anfibi, sabot, platò. Meglio senza? Oppure, un paio di scarpe per ogni ora della giornata. A volte, mi metto a guardare la questione da un altro punto di vista: dal punto di vista delle scarpe per esempio. E mi chiedo se a loro piacerebbe essere indossate quella mattina, con il sole a camminare sulla spiaggia o con la pioggia e impantanarsi tutte; mi chiedo se per loro non sarebbe meglio rimanere nella loro scatola, in fondo all'armadio. Con le mie mani, magari. O con i miei capelli che dormono ancora sul cuscino. A volte concedo loro di andare via, di partire, di fare la loro esperienza e di tornare da me: il mio corpo finisce sempre col ritornare, sembra non ne possa fare a meno, a volte rimprovero la mia mano, per essere stata via troppo a lungo. Altre mi sembra che non abbia colto l'occasione per starmi lontana un altro po'. Non è un fatto di simpatia o antipatia, non provo questo tipo di sentimento, non per le mie mani, nemmeno per le mie scarpe. Forse solo per le tazzine da caffè. Le cerco, le accudisco, le curo, le lecco tutte, intorno il bordo, per far capire loro che non faccio preferenze, bevo un sorso da un lato un sorso dall'altro e così, senza pensarci troppo su, infilo la lingua fino in fondo per leccare i granelli di zucchero che si mescolano con la posa del caffè. Quando le mie orecchie non sono lontane dalla mia testa, perché, questo va detto, a loro piace a volte mettersi al posto dei piedi, o delle ginocchia e allora non funzionano tanto bene, ma quando le mie orecchie sono al loro posto, allora sentono il lavandino che perde. Che eroe quel lavandino. Va avanti tutto il giorno a gocciolare. Tutto il giorno senza mai fermarsi, un Plic dietro l'altro. Plic. Plic. Plic. Plic. Ci si poteva

наоборот, всегда, когда получается, что блюдце красное, а чашечка синяя, кажется, что тут-то и открываются безграничные возможности. Какую ложечку ты подберешь для синей чашечки и красного блюдца? Для удобства можно было бы взять посуду одного цвета, скажем, белого, положить, скажем, разноцветные ложечки – исключительно для разнообразия, но я предпочитаю разнородную посуду. Ну да, нужно же привнести это приятное чувство легкой неловкости, возможно, озадачить какого-нибудь гостя, возможно, даже важного гостя, а может, ты там, со всеми этими разрозненными чашками, сидишь себе и пьешь кофе, как обычно, как будто это самое естественное занятие на свете. Такая возможность открытия. Это как понять, какую пару обуви надеть с утра. Я кручусь перед зеркалом, снимаю-надеваю и пытаюсь понять: высокий каблук, низкий каблук, плетенки, эспадрильи, балетки, кроссовки-амфибии, сабо, туфли на платформе. Или лучше без обуви? Или же каждому часу – своя пара обуви. Иногда я смотрю на проблему с другой точки зрения. С точки зрения обуви, например. И спрашиваю себя, а хотелось бы такой-то паре обуви, чтобы ее надели таким-то утром, когда светит солнце и можно пойти прогуляться по пляжу – или когда идет дождь и можно перепачкаться в грязи. Я спрашиваю себя, не будет для нее лучше остаться в своей коробке в глубине шкафа. С моими руками, возможно. Или с моими волосами, которые всё еще спят на подушке. Иногда я разрешаю частям себя уходить, уезжать, чтобы набраться опыта и вернуться ко мне. И мое тело в итоге всегда возвращается, по-видимому, оно не может иначе. Иногда я ругаю свою руку за то, что ее не было слишком долго. А порой мне кажется, что у нее просто не вышло побыть подальше от меня еще немного. И дело тут не в симпатии или антипатии, я не испытываю подобных чувств ни к своим рукам, ни тем более к своей обуви. Разве что к кофейным чашечкам. Я ищу их, оберегаю, забочусь о них, облизываю каждую по краю, чтобы они поняли, что у меня нет любимчиков, делаю глоток с одной стороны, глоток с другой, а затем, недолго думая, достаю языком до самого донышка, чтобы слизать песчинки сахара, смешавшиеся с кофейной гущей. Когда мои уши недалеко от моей головы, потому как – об этом нужно сказать – им иногда нравится занимать место ступней или коленей, и тогда они не

contare il tempo che passava. Il tempo che mi separava dal prossimo momento di felicità. Mi sono persa dentro quella sua pervicace ostinazione, al punto che ogni Plic mi sembrava un costante invito a essere felice, allora il mio lavandino è diventato il mio eroe, perché tutto il giorno mi ricordava i momenti in cui potevo essere felice. La cosa potrebbe essere anche irritante alle volte, perché ci sono mattine in cui una davvero avrebbe voglia di tutto tranne che di essere felice. Che una vorrebbe rimansene a letto, come i suoi capelli, o andare, che so io, in Papuasias Minore, come le sue mani. E invece, si trova a essere lì, con un rubinetto che perde e che ti ricorda che potresti essere felice, un Plic per ogni attimo di felicità, e se oggi, magari, non avessi bisogno di plic? Se oggi avessi bisogno di essere particolarmente triste o irascibile o capricciosa? Un Plic per ogni momento di felicità e chi l'ha detto? Alle volte bisognerebbe star zitti. Plic. Plic. Plic. E so che c'è. Plic e so che è ancora lì. Plic, e so che le mie orecchie sono ancora al loro posto. Plic e so che un'altra volta ha fatto Plic. E allora un'isola non è che si trasforma in un posto esotico, perché sotto i piedi, quando cammini, senti ancora gli stessi sassi di sempre. Allora prendi confidenza, fai sentire anche ai sassi che sei tu, che quel giorno sei tutta intera, perché, con gli occhi, ho provato a mandarli altrove, ma era un disastro, era sempre tutto buio. Però anche loro, a volte, trovano un sassolino nuovo, che magari si è staccato da dove stava e col tempo ha conquistato il suo spazio, la sua autonomia e adesso si volta indietro e non è che rinnega quello che è stato fino a poco tempo fa, no, anzi. Saluta il sasso grande e lo bacia come un marito bacia la sua sposa. È che a volte una deve cambiare il modo di vedere le cose. Non è che col tempo si smette di amare, non è che col tempo si cambi idea, ma io non sapevo cosa fare. Ci ho provato: mi sono arrabbiata moltissimo, poi, però, non bastava più, non sapevo dove mettere la rabbia. Ho anche pensato di andare via, ci ho pensato talmente tanto, ero così presa a pensarlo che non l'ho mai fatto. Poi è successo: una mattina, che una si alza e si fa il caffè, magari se ne fa anche più di uno, che gli piace proprio fare un caffè dietro l'altro e avere quattro, cinque caffettiere sul fuoco, e ti chiedi dov'è? dov'è il cane? Da quanto tempo non

очень хорошо слышат, – так вот, когда мои уши на своем месте, они слышат протекающий умывальник. Этот умывальник – настоящий герой. Целыми днями из него капает. День напролет, без пауз и остановок, один плюх за другим. Плюх. Плюх. Плюх. Плюх. По плюхам можно было бы отсчитывать время. Время, которое отделяло меня от следующего мгновения счастья. Я потерялась в упорной настойчивости умывальника, до того потерялась, что каждый плюх казался мне постоянным приглашением к переживанию счастья, тогда мой умывальник и стал моим героем, потому что весь день он мне напоминал про мгновения, когда я могла быть счастливой. Это ведь иногда раздражает, потому что бывают такие утра, когда хочется чего угодно, только не быть счастливой. Например, когда хочется остаться в постели, как волосы, или отправиться куда глаза глядят, скажем, в Малую Папуасию, вслед за руками. Но вместо этого ты понимаешь, что ты тут, вместе с краном, и он капает, напоминая, что ты могла бы быть счастливой, один плюх как один миг счастья. А если сегодня, предположим, тебе эти плюхи ни к чему? Если сегодня тебе нужно быть особенно грустной, или раздражительной, или капризной? Один плюх как один миг счастья – а кто это сказал? Иногда неплохо было бы помолчать. Плюх. Плюх. Плюх – и я знаю, что оно есть. Плюх – и я знаю, что оно еще тут. Плюх – и я знаю, что мои уши всё еще на своем месте. Плюх – и я знаю, что он плюхнул еще раз. И не скажешь, что остров вдруг превращается в экзотическое место, потому что ты идешь и чувствуешь под ногами те же камни, что и всегда. И тогда ты подстраиваешься, чтобы камни в свою очередь почувствовали, что это ты, что сегодня ты тут вся, целиком, даже с глазами, я как-то пробовала отправить их куда-нибудь подальше, но это была катастрофа, одна сплошная темень. Однако и они нет-нет да и найдут новый камешек, наверное, он откололся оттуда, где был, и со временем завоевал свое место под солнцем, стал самостоятельным, а сейчас оборачивается назад, и не то что не отрицает то, чем он был до недавнего времени, – нет, напротив. Он здоровается с большим камнем и целует его, как новобрачный целует свою суженую. Это я к тому, что иногда ты должна смотреть на вещи по-другому. Не то чтобы со временем перестаешь любить, не то чтобы со временем меняешь точку зрения, но я не

lo vedo? È uscito e non è mai tornato? Se non lo trovo può anche darsi che non ci sia mai stato. Allora ti giri e ti metti a cercare il cane o tracce del suo passaggio, il suo cibo, il suo collare, il suo guinzaglio, cerchi i suoi peli per casa e non li trovi e allora ti consoli dicendo che forse non hai mai avuto un cane, dal momento che se un cane c'è, lascia tracce. Mi sono sentita libera, libera di spostare i mobili, libera di abbassare i pensili alla mia altezza, libera di alzarli a dismisura, così da dover salire su una sedia anche solo per prendere una tazzina da caffè. Salire su una sedia e starsene lì appollaiata come un uccello sul suo trespolo tutta la mattina, tutto il pomeriggio, senza per forza sentirsi cretini. Oppure sì, sì, sentirsi cretini, per tutto il tempo che si rimane su quella sedia. Magari, poi, non riesci più a scendere, perché le tue gambe non se la sono sentita di assecondarti in questa cosa. Magari, prese dall'imbarazzo, se ne sono andate e, allora, sei costretta a stare così, su una sedia, finché le tue gambe non pensano bene di venirti a riprendere. In quelle circostanze non me la sono sentita di mandare qualche altra parte di me a cercare le mie gambe, avrei potuto chiederlo alle mie scarpe, dal momento che si conoscono abbastanza bene, ma, proprio per questo motivo, le mie scarpe, se n'erano andate con le mie gambe. Per fortuna, in quei momenti c'era il mio eroe: il mio lavandino che col suo Plic mi teneva compagnia. A volte, mi rimproverava di essere stata incauta. E forse aveva ragione, forse ero stata davvero incauta a voler passare tutta la giornata appollaiata in cima a una sedia. Ci ho anche dormito sulla sedia, perché a volte il letto era troppo grande, troppo freddo, troppo comodo, perché a volte anche un letto comodo può riuscire a darti fastidio, non perché non ti lasci dormire, ma, anzi, proprio perché ti concilia il sogno e tu non vuoi, non vuoi chiudere gli occhi. Non vuoi dormire e ti concentri sul Plic del lavandino che perde, e lo preghi di dirti qualcosa, di suggerirti un pensiero per cui startene lì con gli occhi sbarrati a guardare il soffitto. Ma niente. Ci sono momenti in cui un Plic non ti dirà nient'altro che Plic. Allora ti chiedi quanti caffè dovrai prendere per passare la notte insonne, perché proprio non vuoi sognare, perché sai che non puoi concedertelo, che sarebbe difficile poi svegliarsi, e non si può

знала, что делать. Я попробовала: я ужасно рассердилась, потом, правда, словно в довершение всех бед, я не знала, куда деть свой гнев. Я даже подумала, а не уйти ли мне, я так задумалась, так меня захватила эта мысль, что я никуда не ушла. А потом всё случилось. В одно обычное утро, когда встаешь и варишь себе кофе, может, и не одну чашечку кофе, потому что тебе нравится варить кофе, чашку за чашкой, и чтобы четыре или пять кофеварок одновременно стояли на плите, ты спрашиваешь себя: а где? где собака? Когда я ее видела в последний раз? Она ушла и больше не вернулась? Если я ее не нахожу, может статься, что ее никогда и не было. И тут ты начинаешь ходить туда-сюда, ищешь собаку или следы ее присутствия, ее еду, ее ошейник, ее поводок, разыскиваешь по дому ее шерсть и не находишь, а потом ты успокаиваешь себя, говоришь себе, что, может, у тебя никогда и не было собаки, поскольку если собака есть, то есть и ее следы. Я почувствовала себя свободной, свободной переставить мебель, свободной перевесить пониже полки – под свой рост, свободной повесить их недостижимо высоко и залезать на стул всякий раз, когда нужно достать кофейную чашку. Залезть на стул и провести на нем все утро и весь день, примостившись, как птичка на жердочке, – и не чувствовать себя при этом идиоткой. Или же да, да, чувствовать себя идиоткой всё время, что торчишь на этом стуле. Возможно, спуститься потом не получится, потому что твои ноги не захотят поспособствовать тебе в этом деле. Вероятно, им стало неловко, и они ушли, и теперь тебе придется сидеть вот так, на этом стуле, пока ноги не одумаются и не вернуться за тобой. В сложившихся обстоятельствах мне как-то не хотелось посылать еще какую-нибудь часть себя на поиски ног, я бы могла попросить об этом обувь, учитывая, что они хорошо друг друга знают, но именно поэтому моя обувь ушла вместе с ногами. К счастью, в такие моменты рядом был мой герой: умывальник со своими плюхами скрашивал мое одиночество. Иногда он ругал меня за неосторожность. Наверное, он был прав, может, действительно было неосторожно с моей стороны захотеть провести весь день, примостившись на стуле. Я даже спала на стуле, потому что иногда кровать была для меня слишком большой, слишком холодной, слишком удобной, потому что иногда даже удобная кровать может доставлять

sempre fare come i capelli, che la mattina rimangono a dormire sul cuscino. C'è il caffè da fare, controllare che ci sei tutta, e proprio non puoi concederti di sognare. Che sai, senza bisogno di dirtelo, sai che poi correresti dietro a quel sogno e non puoi proprio permettertelo. È la mattina che ti alzi e non ci sei più, sei sparita tutta. E preghi che non sia quello il giorno. Sai che ridere se dovesse arrivare e non riuscisse a vederti, se si mettesse a cercare, nelle scatole, nei cassetti, negli armadi. Non saprebbe come fare, del resto quella non è più casa sua, non è la casa che lui ricorda. Allora, magari, penserebbe a un'altra avventura, dove sei tu quella che deve trovare. Peccato che tu sia lì e che lui non possa vederti, perché il tuo corpo è voluto andare altrove, tutto insieme. Che seccatura! E il rubinetto insiste con il suo Plic, Plic, Plic, per avvertirti che io sono qui, ma le tue orecchie non conoscono quella lingua; ma dico io: con tutti i posti dove sono state, non hanno imparato a parlare con i rubinetti che perdono? Che fastidio! Plic? Plic? Plic? Niente. Che fastidio! Il cane? Da dove spunta il cane? Eravate usciti insieme tu e il cane? Mi sono divertita a pensare che cane potesse andar bene accanto a te. Ma non era così che me lo immaginavo, neanche tu a volte eri tu. A volte sei diventato una mano o un piede o un muscolo o un capello, a volte un cucchiaino da caffè, a volte lo zucchero in fondo alla tazzina da leccare con la lingua. Ho rinunciato alla tua forma, ho rinunciato alla mia forma, ho spostato i mobili della casa, ho alzato tutti i pensili. Solo perché a volte mi piace stare sulle sedie e guardare il mondo dall'alto. Magari non si fa, magari non va bene, magari no. Lo sai: a volte quel Plic era la tua voce, che mi sgridava, che rideva alle mie battute, che mi raccontava storie per farmi dormire. A volte nelle mie orecchie trovavo frasi che mi portavo dritte alla bocca e le bevevo come il caffè. Caffè? Quanto zucchero? È l'abitudine di contare il tempo in tazzine di caffè. Due tazzine fa, tre tazzine fa. Dov'eri tre tazzine fa? Sei in ritardo di cinque tazzine, due caffettiere e tre pacchi di caffè, macinato fresco. Dov'eri? Era pronto il caffè, non volevo si freddasse e così l'ho bevuto tutto io. Lo rifaccio? Io ne prendo un altro volentieri. Dove sei, ora che il lavandino perde, lo scarico non funziona e il cane ha bisogno di uscire? Ma

неудобства: не потому, что она мешает тебе спать, а как раз потому, что она наводит на тебя сон, а ты не хочешь, не хочешь закрывать глаза. Не хочешь спать, и сосредотачиваешься на плюхах протекающего умывальника, и просишь его сказать тебе что-нибудь, подсказать какую-нибудь мысль, ради которой можно лежать с широко раскрытыми глазами и рассматривать потолок. Но – увы. Бывает и так, что плюх значит не что иное, как плюх. Тогда ты спрашиваешь себя, сколько чашек кофе нужно выпить, чтобы провести бессонную ночь, потому что спать ты точно не хочешь, потому что знаешь, что не можешь себе этого позволить, что потом будет трудно проснуться, и что нельзя всегда поступать так, как волосы, которые по утрам спят себе дальше на подушке. Нужно сварить кофе, нужно удостовериться, что ты здесь вся, поэтому ты никак не можешь позволить себе спать. Ведь ты знаешь, и не нужно тебе об этом говорить, знаешь, как будешь гнаться потом за своим сном, а этого ты никак себе не можешь позволить. Этим утром ты встаешь – а тебя больше нет, ты полностью исчезла. И ты умоляешь: о нет, только не сегодня. Знаешь, как было бы смешно, если бы он пришел и не смог бы тебя увидеть, он стал бы тебя искать – в коробках, ящиках, шкафах. Он бы не знал, что делать, в конце концов, это больше не его дом, не тот дом, что он помнит. Тогда он бы, наверное, предположил, что это еще одно приключение и он должен тебя найти. Как жаль, что ты тут, а он не может тебя увидеть, потому что твоему телу захотелось куда-то уйти, целиком и полностью. Какая досада! А кран все повторяет: плюх, плюх, плюх, напоминает, что я, мол, тут, но твои уши не знают этого языка. Подумать только: побывать в стольких местах, где побывали они, и не научиться разговаривать с капающими кранами? Как это раздражает! Плюх? Плюх? Плюх? Ничего. Вот досада! Собака? Откуда взялась собака? Вы ушли вместе, ты и собака? Меня позабавила мысль, что собака хорошо бы смотрелась рядом с тобой. Но все было не так, как я себе представляла, порой ты тоже был не ты. Иногда ты превращался в руку или в ногу, в мышцу или в волос, иногда в кофейную ложечку, иногда в сахар на дне чашечки, чтобы тебя слизали языком. Я отказалась от твоей формы, отказалась от своей формы, я переставила мебель в доме, перевесила повыше все полки. Только потому, что

il cane non era già uscito con te? Vedi? Vedi che a furia di star qui ad aspettarti mi dimentico delle cose, mi dimentico delle gambe, delle mani, delle braccia, pensa che le chiudo in fondo a una scatola e me ne vado in giro, così come se niente fosse. Caffè? Quanto zucchero? Lo prendi sempre amaro? Non sai che ti perdi: se ci metti lo zucchero nel caffè, poi dopo che l'hai bevuto puoi leccare i granelli con la lingua, per tutta la tazzina. Così guarda: ti insegno io. Se non te ne fossi andato, se non fossi partito, io sarei tutta intera, sarei un unico pezzo, perché ogni pezzo di me, tutte le sere, è venuto a cercarti, ma non lo avrei mai potuto fare se tu non fossi partito, se un giorno non avessi deciso che ciao. Ciao rabbia, ciao rancore, ciao risentimento, che la vita era mia e ci potevo stare anche comoda, con te, con me, comoda con la mia vita, comoda. Ho lasciato le porte aperte, era l'unico modo per sapere, con una certa sicurezza, ma anche con un certo azzardo, che saresti tornato. E, allora, con la porta aperta, accettare tutto quello che da quella porta sarebbe potuto entrare, perché sapevo che un giorno o l'altro, da quella porta, saresti entrato anche tu, con le tue meraviglie, con le tue storie, con la sabbia tra le dita dei piedi, a lasciare le tue impronte ovunque, ovunque a calpestare i pavimenti, ovunque a sederti sul divano e sulle sedie, a rovistare per cercare i cucchiaini, in silenzio, senza poter parlare. In silenzio. Magari sei arrivato giorni fa, magari anni fa, magari sei sempre stato su quell'uscio e facevi le prove per il tuo ingresso e io, in tutto questo tempo, facevo altrettanto. Allora, che entrino pure le mosche d'estate con le zanzare e i lombrichi, lascia che le cicogne si facciano il nido tra i miei capelli. Anche adesso, che sei nascosto all'orizzonte, io lo so che ci sei. Lo so tra i miei capelli. Lo sanno le mosche che entrano in casa e lo sanno i lombrichi, tutta la casa lo sa. A volte, ho sentito le tazzine da caffè bisbigliare al lavandino che saresti ritornato e quello rispondeva: Plic. Possibilista. Per questo non ho pianto, se non per la gioia di saperti vivo da qualche parte, in fondo alle tazzine da caffè, in fondo al Plic del rubinetto, nei cassetti, nelle foglie che cadevano, nelle mosche che volavano via, nelle cicogne che ritornavano a fare il nido nei miei capelli. E adesso che le tue orme calpestanto tutta la casa, io ci

иногда мне нравится забираться на стулья и смотреть на мир сверху. Возможно, так не поступают, возможно, это нехорошо, возможно, что и нет. Ты знаешь: иногда в плюхе я слышала твой голос, ругающий меня, смеющийся над моими шутками, рассказывающий мне истории, чтобы я заснула. Иногда из своих ушей я доставала целые предложения, которые я подносила прямо ко рту и выпивала, как кофе. Кофе? Сколько сахара? Это такая привычка – измерять время чашечками кофе. Две чашечки назад, три чашечки назад. Где ты был три чашечки назад? Ты опоздал на пять чашечек, два кофейника и три пачки свежемолотого кофе. Где ты был? Я приготовила кофе, не хотелось, чтобы он остыл, и поэтому я выпила его сама. Сварить еще? Я с удовольствием выпью еще чашечку. Где ты сейчас, когда умывальник течет, сток забился, а собаку пора выгуливать? А разве ты еще не выгулял собаку? Вот видишь? Видишь, как невыносимо сидеть здесь и ждать тебя? Я забываю, забываю о ногах, ладонях, руках, подумай, что будет, если я запру их в ящике и пойду гулять, как ни в чем не бывало? Кофе? Сколько сахара? Ты всегда пьешь без сахара? Ты не знаешь, что теряешь: если ты кладешь сахар в кофе, то потом, когда кофе выпит, можно по всей чашке собирать языком песчинки сахара. Вот так, смотри, я тебя научу. Если бы ты не ушел, если бы ты не уехал, я была здесь вся, была бы единым целым, потому что каждый вечер каждая часть меня приходила искать тебя, но ничего подобного я никогда не смогла бы сделать, если бы ты не уехал, если бы однажды ты не решил, что пришло время сказать «пока» – пока, гнев! пока, злоба! пока, обида! – это моя жизнь, и мне в ней удобно – с тобой, с собой, удобно со своей жизнью, удобно. Я оставила двери открытыми, это был единственный способ знать, с определенной долей уверенности и даже с некоторой дерзостью, что ты вернешься. И теперь, с открытой дверью, принимать все, что может через нее войти, потому что я знала, что не сегодня-завтра в эту дверь войдешь и ты – со своими причудами, со своими историями, с песком между пальцами ног, – и оставишь повсюду свои следы, истопчешь весь пол, посидишь на диване и на всех стульях, перероешь всю посуду, чтобы найти ложечки, молча, не в состоянии сказать ни слова. В тишине. Может, ты приехал несколько дней назад, может, несколько лет назад, может, ты всегда стоял

appoggio la mia guancia, ci appoggio le mie ginocchia, i miei gomiti, le mie cosce, i miei piedi. E chi può dire che siano davvero i miei? Perché può darsi che, alla tua partenza, ci siamo scambiati alcuni pezzi, che magari tu mi abbia lasciato il tuo braccio di uomo per portarti dietro il mio, che la tua coscia si sia cucita al mio fianco, per lasciarne a te una più agile e snella. Chi può dire con certezza quali dita della mano e quali dei piedi siano venute con te? Le tazzine da caffè sono oggetti straordinari, ti sorprenderebbe sapere tutto quello che ci può stare dentro. Quanto tempo può stare dentro una tazzina di caffè? Sapessi tutto l'addio che ci può stare in una sola tazzina di caffè. E di desiderio? Quanto desiderio ci sta in una tazzina di caffè? Quanto futuro ci può stare in una sola tazzina di caffè? Magari, quel tanto che basta a sorprenderci entrambi, magari. Magari sono stanca. È pronto il caffè? Potrei non esserci? Magari vado, magari vado a fare un caffè, magari.

у этой двери и репетировал свой вход, а я все это время делала то же самое. Тогда пусть залетают в дом летние мухи с комарами, пусть заползают дождевые черви, пусть аисты совьют гнездо в моих волосах. Даже теперь, когда ты скрылся за горизонтом, я знаю, что ты есть. Я узнаю об этом от волос. Об этом знают залетающие в дом мухи, об этом знают дождевые черви, весь дом об этом знает. Иногда я слышала, как кофейные чашечки шепчут умывальнику, что ты вернешься, а он отвечал: плюх. POSSИБИЛИСТ. Поэтому я не плакала, разве что только от радости, ведь я знаю, что ты жив где-то там, на донышке кофейных чашечек, в плюхах крана, в ящиках, в опадающих листьях, в улетающих мухах, в аистах, вернувшись свить гнездо в моих волосах. А сейчас, когда весь дом в твоих следах, я прикасаюсь к ним щекой, прикасаюсь к ним коленями, локтями, бедрами, ступнями. Кто скажет, что они на самом деле мои? Потому что может оказаться и так, что, когда ты уходил, мы обменялись некоторыми частями, что, может, ты оставил мне свою мужскую руку, чтобы забрать мою, что твое бедро пришито теперь к моему боку, а тебе досталось более изящное и стройное. Кто может точно сказать, какие пальцы рук и какие пальцы ног пришли вместе с тобой? Кофейные чашечки – предметы особенные, ты бы впечатлился, узнав, сколько всего разного может в них быть. Сколько времени может уместиться в кофейной чашечке? А знал бы ты, сколько прощания вмещает в себя кофейная чашечка. А сколько желания? Сколько желания в одной кофейной чашечке? Сколько будущего может поместиться в одной-единственной кофейной чашечке? Возможно, столько, что хватит удивить нас обоих. Возможно. Наверное, я устала. Кофе готов? Может, и нет меня здесь? Пожалуй, я пойду. Пойду-ка я, пожалуй, сварю кофе. Пожалуй.

Nota critica

Mappughje mette in scena una scissione, un lacerante distacco. Protagonisti di questo racconto sono un'anima e un corpo. Tra loro interviene una separazione. Il corpo lascia l'anima e l'anima viene lasciata nell'abbandono. Solitamente accade il contrario: è l'anima a lasciare il corpo. Ebbene Fabio Chiriatti guarda, come lui stesso scrive, "la questione da un altro punto di vista".

Così accade in *Mappughje*: l'anima viene lasciata tra "le cose di poco conto" (tale è il significato di *Mappughje*) e soffre ogni pena. Non è più l'anima, qui, a decretare la fine del corpo. È il corpo, questo elemento mortale, a separarsi da un'entità sovrasensibile.

Sull'esistenza incombe continuamente il pericolo della lacerazione, ci fa osservare Chiriatti; ma il subire l'abbandono è connaturato al corpo, per la sua limitatezza. L'essere umano è lacerato tra due realtà contrapposte: a un uomo interiore – l'anima, in rapporto stretto con lo spirito – si oppone un uomo esteriore, che è rivolto al sensibile, al molteplice, ai piaceri dei sensi e al primato sociale. In questa contrapposizione, è l'anima, sempre, a sfuggire alla prigione del corpo, giacché ritiene che nessuna delle sue realtà esteriori sia degna di grande considerazione.

E se fosse il corpo a liberarsi dell'anima? Chiriatti sperimenta con *Mappughje* questa possibilità in un racconto in cui l'Io narrante è affidato proprio all'anima, che scopre, dopo l'abbandono, di non sapere che farsene del proprio ideale di purezza se non può misurarlo sulle magnifiche impurità del corpo. Quando apre gli occhi, l'anima scopre che non può essere autosufficiente; scopre che non può esistere senza la "prigione" chiamata "corpo". Dopo l'abbandono, si scopre "umana".

Flavio Ermini

Отзыв о рассказе

«Пустяшки» – история разрыва, мучительной разлуки. Действующие лица этой трагедии – душа и тело, расставшиеся друг с другом. Тело покидает душу, и она чувствует себя брошенной. Обычно происходит наоборот: душа уходит из тела. Фабио Кирыятти решает взглянуть, как пишет он сам, «на эту проблему с другой точки зрения».

Именно так и происходит в рассказе «Пустяшки»: душа остается одна среди «незначительных вещей» (таково значение салентского слова *Mappughje*, оригинального названия рассказа) и испытывает невыносимые страдания. Уже не душа определяет, когда наступит кончина тела, – тело, эта смертная субстанция, решает отделиться от сверхчувствительной сущности.

Над существованием постоянно нависает угроза разделения тела и души, предупреждает нас Кирыятти, но вероятность быть брошенным относится к телу в силу его конечности. Человеческое существо разрывается между двумя противоположными мирами. Его внутренней сущности – душе, тесно связанной с духом, – противостоит сущность внешняя, обращенная к осязаемому, множественному, ищущая чувственных удовольствий, отдающая предпочтение социальной стороне жизни. В этом противостоянии душа всегда стремится освободиться от телесных оков, поскольку считает, что внешняя реальность не достойна сколь-нибудь значительного внимания.

И что будет, если тело освободится от души? В своем рассказе «Пустяшки» Кирыятти проводит подобный эксперимент. Повествование ведется от имени души, которая, будучи разлученной с телом, не знает, что ей теперь делать со своим идеалом чистоты, когда его нельзя более соизмерить с величественным несовершенством тела. Душа открывает глаза и осознает невозможность своей самодостаточности, понимает, что не может существовать без тюрьмы под названием «тело». Брошенная телом душа обнаруживает «человечность» своего характера.

Флавио Эрмини

Biografia

Fabio Chiriatti (Maglie, 1984), dopo vari laboratori teatrali, nel 2010 si è diplomato in Scrittura drammaturgica presso la Civica Scuola d'Arte Drammatica Paolo Grassi di Milano. Dal 2008 collabora con la compagnia Zerogrammi. Nel 2011 si è qualificato terzo col monologo *Dark Room* al Premio Borrello. È stato selezionato per la XV Biennale del Mediterraneo. Nel 2012 ha pubblicato, a seguito del progetto Archeos (Teatro Stabile delle Marche), il volume *Generazione Erasmus* per la Titivillus.

Биография

Фабио Кирьятти (Малье, 1984) занимался в различных театральных лабораториях. В 2010 г. окончил Школу драматического искусства имени Паоло Грасси в Милане по специальности «Драматургия». С 2008 г. сотрудничает с театральной труппой «Дзерограмми». В 2011 г. с монологом «Темная комната» занял третье место в конкурсе на премию «Боррелло». Отобран для участия в XV Средиземноморской биеннале. В 2012 г. по результатам проекта «Археос» (Театр Стабиле делле Марке) в издательстве «Титивиллус» вышла его книга «Поколение Erasmus».

Michele Grignaffini

Traduzione in russo di Anna Lentovskaja

Микеле Гриньяффини

Перевод Анны Лентовской



RISVEGLIO

Mi sveglio. La plumbea luce penetra la porta a vetri del balconcino; è il migliore dei buongiorno.

Nel tepore del letto, i pensieri vagano su qualche reminiscenza notturna. Raramente svegliarsi è come nascere.

Cosa accade nella notte? Qualcosa deve accadere, o non ci sveglieremmo con una pallida, ma sufficiente voglia di scrivere.

Primo passo: un'idea.

L'idea è malinconia, ma anche malinconica; è una bozza della notte appena trascorsa. Dovrà essere suadente, profumata di delicata cadenza, passo lento; idea oziosa... sospesa.

Quindi, che impronta darle? Un'inquadratura panoramica vista al cinema: luoghi sconfinati, oggetti in primo piano e miriadi di persone molto distanti. Il tutto letto da una voce bassa, lenta e conciliante... fuoricampo. Assonnata.

Secondo passo: alzata.

Alzarsi dal letto, far scendere le idee verso i piedi, così che possano guidarci per tutto il giorno.

Nell'ampio salone una luce che, filtrando tra le nuvole, si tinge di grigio, spegne tutti i colori della materia circostante. È abbastanza presto e il debole sole di quest'ora, unito alla stagione, dissuade chiunque dallo scendere in strada. Ma, anche nella coesistenza di questi grigi fenomeni e dei sensi intorpiditi, qualcuno sfida il silenzio delle vie. Un mezzo della nettezza urbana rimuove i segni del giorno prima. È proprio la sottolineatura adeguata al contesto, il segno che ci si prepara a qualcosa di nuovo. Su di lui una luce gialla-arancione ruota ritmicamente, lentamente, ipnoticamente, dandoci l'idea che il mezzo urbano appartenga a questo mondo pre-risveglio. C'è qualcosa di fanciullesco

ПРОБУЖДЕНИЕ

Я просыпаюсь. Свинцовое свечение просачивается сквозь створки балконной двери; это лучшее из пожеланий доброго дня.

В тепле постели мысли роятся вокруг невнятного ночного воспоминания. Нечасто пробуждение напоминает второе рождение.

Что же происходит в ночи? Что-то точно должно происходить, ведь иначе при пробуждении нами бы не овладевало смутное, но вполне убедительное желание творить.

Шаг первый: замысел.

Замысел меланхоличен, он – воплощение светлой грусти, эскиз только что минувшей ночи. Он должен манить, издавать деликатный, сдержанный аромат, двигаться неспешной поступью. Замысел полон невозмутимой праздности и... неопределенности. Какую же форму ему придать? Использовать принцип панорамной киносъемки: бескрайние просторы, неодушевленные предметы на первом плане и толпы людей вдалеке. И еле слышный, медленный, убаюкивающий закадровый голос – сонный голос комментатора.

Шаг второй: подъем.

Поднимаешься с кровати и увязываешь замысел с собственными шагами, чтобы придать себе энергии на целый день.

В просторной гостиной сероватый свет, проникающий сквозь тучи, приглушает цвет всех предметов вокруг. Еще довольно рано, и слабое утреннее солнце, блеклое, как всегда в это время года, способно разубедить любого, кто собрался на улицу. Однако среди всеобъемлющей серости и вымороженности утренних ощущений кто-то все же бросает вызов тишине улиц. Мусороуборочная машина стирает следы прошлого дня. Это удачный акцент в данной ситуации: знак того, что стоит подготовиться к чему-то новому. Желто-оранжевая лампочка на мусоровозе медленно, ритмично вращается, завораживая, заставляя воспринимать эту машину как явление из мира на стыке грез и реальности. В грохоте этого грузовика есть что-то ребяческое. Это отголосок детства.

nel rumore di quel furgone. È un ricordo. Un ricordo di quando, da piccoli, ci si svegliava tranquilli e nel letto compiacente si sentiva lo stesso suono metallico della nettezza urbana. È un momento di epifania. Non sarà un caso se si chiama così. Una manifestazione, un momento legato alla festività, quando tutti siedono al desco e il cibo abbonda. Quando il calore di una casa è più accogliente del solito, un calore più vicino, più forte rispetto al gelo esterno; dove il fuoco di un camino è più arancione... un arancione saltellante, ondulatorio. Un arancione che si muove ritmicamente, lentamente, ipnoticamente... dandoci l'idea di un mezzo urbano.

Dietro una porta immersa nel buio corridoio si ode un rumore. *Pantofolare.*

Terzo passo: elementi narrativi.

Il *pantofolare* entra nel bagno che rimane riservato dietro la porta del corridoio. Un lento scroscio è cadenzato da una mira rimasta tra le coperte. *Pantofolare* di nuovo e rumore di una vecchia rete cigolante. Tutto tace.

Spostarsi in cucina. Accendere il fiammifero, il fornello, mettere l'acqua sul fuoco. Contemplare un punto nello spazio, focalizzare un punto nel tempo. Silenziosamente altri ricordi vengono alla mente nella cucina di quando si era piccoli.

Analogia trovata: sentirsi come in un libro di Proust.

Prendo i soldi e scendo in strada. Quando la porta dell'atrio si apre, l'aria fredda del cortile induce al risveglio. Un uomo, schiavo del piacere secondo solo alla minzione del suo cane, si stropiccia il naso infreddolito. Lungo la strada un'insegna giallo-pane è accesa. Il fornaio sotto casa. Dalla vetrina: una stanza con pareti di legno e scaffali reggenti cesti di vimini.

La fornaia si muove lentamente; lei, ti lascia cullare in te stesso mentre guardi la sua merce. Sei contento.

Stare in coda silenziosamente, non potrebbe essere più piacevole.

Rientro in casa, rivolgo uno sguardo al quadro dell'anima.

Воспоминание о том, как ты ребенком безмятежно просыпался и, нежась в удобной кроватке, слышал такой же металлический скрежет мусоровоза. Это момент эпифании. Не случайно именно так называется миг прикосновения высшей силы, праздник Богоявления, когда все собираются за столом для обильной трапезы. В такие моменты домашнее тепло ощущается сильнее, чем обычно, оказывается ближе к сердцу и побеждает уличную стужу; а оранжевые языки пламени в камине кажутся более яркими, чем прежде, они мерцают, переливаются... Оранжевые всполохи пульсируют медленно, ритмично, завораживая, вызывая в памяти городской мусоровоз.

За дверь, скрытой в темноте коридора, слышится шорох. *Шаркающие шаги.*

Шаг третий: элементы повествования.

Шаркающие шаги добираются до ванной, невидимой за дверь, которая ведет в коридор. Продолжительный шум воды как будто оттягивает миг воссоединения с целью, оставшейся под одеялом. *Шаркающие шаги* спешат назад и сменяются скрипом старой кровати. Все смолкает.

Выбираешься на кухню. Зажигаешь спичку, конфорку, ставишь воду на плиту. Строишь в одну точку перед собой, в пространство, и пытаешься выбрать точку во времени. На кухне, где прошло детство, на ум бесшумно приходят все новые воспоминания.

Найденная аналогия: ощущаешь себя героем книги Пруста.

Беру деньги и выхожу на улицу. Как только открывается дверь парадной, холодный воздух со двора тут же заставляет проснуться. Мужчина, не в силах оторваться от занятия, приносящего ему облегчение чуть меньшее, чем мочеиспускание его собаке, чешет замерзший нос. На улице светится вывеска желто-пшеничного цвета. Это булочная под домом. Сквозь витрину можно разглядеть помещение с деревянными стенами и шкафами, уставленными плетеными корзинами.

Булочница двигается медленно; тебя клонит ко сну, пока ты разглядываешь ее товар. Но ты доволен.

Молча стоять в очереди несказанно приятно.

Возвращаюсь домой и обращаю свой взор к состоянию души.

Quarto passo: riflessione.

Quand'è che le cose sono diventate in prima persona? Accendo la luce della camera per ritrovare le idee. Una lampadina si fulmina emettendo uno scoppio. La stanza è ombreggiata, le idee si confondono, il sogno della notte riemerge sui pensieri del mattino. Ho sognato un omicidio e mi chiedo perché chi scrive, scrive...

Mi sdraio sul letto. Ordino le idee mangiando focaccia. Quand'è che i sapori sono passati in terza persona? Da quando le cose sono diventate contenitori vuoti? In un tempo sepolto la focaccia era un piacere, ora, solo un ricordo in una stanza adombrata. Da molto questa nostalgia è un tormentoso carillon. Dormire è la cosa più bella della vita. Lì, disteso in un angolo del mondo, trasformato a oggetto, imperscrutabile essenza isolata, opaca, singola, vuota. Dormire è divenire, divenire è essere; essere un contenitore, una focaccia vuota, senza sapore. È il ricondursi alla materia prima del parto, una sottrazione di idee e pensieri che spariscono durante il sonno vero. Lo sai; le idee tristi non si alternano più con quelle felici. È facile infrangere un momento di piacere con un'ancora negativa che trascina sul fondo. Nel sonno, invece, nulla appare più, nulla riconduce l'anima al dolore... poi arriva il sogno.

Quinto passo: il sogno.

Sono un ebreo tra altri ebrei. Ebreo... gli aggettivi sono importanti, ma in questo sogno, mi ci sono svegliato come tale. Ebreo è il mio sostantivo. So di esserlo, vedo come mi guardano gli altri ebrei. Mi guardano come io guardo loro: ossa e uno straccio di pelle, orbite larghe, contenitori che si riconoscono fragili, pance vuote come tamburi. Tutti pieni di speranza; quella di essere qualcosa di più di quello che vediamo. Il dubbio se sia speranza condivisa oppure no, è lecito; perché ciò che vediamo è pietà. Pietà per noi stessi. Dobbiamo aspettarci negli altri qualcosa di ancora umano, o non ci vedremmo più come tali. Ebreo è il mio sostantivo...

Шаг четвертый: размышление.

Когда же, собственно, рассказ пошел от первого лица? Зажигаю свет в комнате, чтобы собраться с мыслями. Лампочка издает хлопок и перегорает. В комнате полумрак, мысли путаются, недавнее сновидение сливается с утренними раздумьями. Мне приснилось убийство – и почему пишут те, кто пишет?

Ложусь на кровать. Пытаюсь навести порядок в голове, поедая кусок лепешки. Когда же вкусовые ощущения отошли на третий план? В какой момент вещи лишились своего содержания? Во времена, канувшие в прошлое, лепешка приносила радость, теперь же это лишь обрывок воспоминания в полутьме комнаты. Ностальгия уже давно отдается в голове навязчивым звоном. Сон – лучшее, что есть в жизни. Там, на краешке мира, ты становишься предметом, непроницаемой, непостижимой материей – мутной, одинокой и пустой. Сон – это становление, а становление – бытие; бытие пустой оболочки, пустой лепешки без содержимого, без вкуса и запаха. Низведенный до состояния материи, еще не явившейся на свет, ты свободен от мыслей и переживаний, которые исчезают во время сна. Ты ведь знаешь: грустные мысли больше не сменяются радостными. Счастливое мгновение слишком легко разрушить грузом тяжелых воспоминаний, которые тянут ко дну. А во сне ничто не может явиться, откуда ни возьмись, ничто не причиняет душе страданий. И еще во сне приходят сновидения.

Шаг пятый: сон.

Я еврей среди других евреев. Какой? Прилагательные важны, но в этом сне я очнулся просто таким, как есть. Мое существительное – еврей. Я так себя осознаю, я вижу, как смотрят на меня остальные евреи. Они видят меня таким же, какими я вижу их: кожа да кости, глубоко запавшие глаза, хлипкие тела, животы пустые, как барабан. Все полны надежды на то, что являются чем-то большим, чем видится со стороны. Сомневаться, все ли надеются, вполне резонно, ведь со стороны очевидна лишь жалость. Жалость, которую мы испытываем сами к себе. Но от других мы должны ожидать хотя бы каких-то проявлений человечности, или больше не сможем воспринимать себя людьми. Мое существительное – еврей...

“Ebreo vicino alla recinzione, insieme agli altri. Muso al muro!”

Un fucile viene caricato, il suono è il battesimo di un proiettile.

Io sono Ebreo, so di essere colpevole di qualcosa.

“Uno di voi ha rubato del cibo dalle cucine. Sapete che questo è vietato. Ci sono delle regole e *voi avete bisogno* di rispettarle... O il colpevole si fa avanti, o cinque di voi serviranno da esempio agli altri”.

Quindici ebrei in fila, cinque condannati. Non vorrei pensarlo, ma ne ho bisogno, perché so che anche gli altri lo stanno facendo. Quindici ebrei, cinque condannati, ognuno di noi un terzo di possibilità di morire. La possibilità di sopravvivere aumenta man mano che uno dei cinque viene giustiziato. Quindici contenitori e ognuno potrebbe sacrificarsi riempiendosi delle colpe altrui. È questo che pensiamo? Che una colpa possa saziarci? Se fosse il mio vicino a farsi avanti, mi renderebbe più colpevole di quel che sono. Se mi facessi avanti io, salverei la vita a quattordici persone, se invece riponessi fiducia nel destino, cinque ebrei morirebbero. Cambiassi invece idea, dopo il primo, il secondo, o il terzo giustiziato, io... non lo so, non so cosa penserei. Ma so che quindici ebrei stanno calcolando queste cose e nessuno ha il coraggio di guardarsi negli occhi, nessuno tranne il colpevole; tranne me. Ognuno spera di rimanere vivo, ognuno ha pensato di sacrificarsi, quattordici sperano nel colpevole. Uno solo spera in quattordici. Hanno provato a renderci numeri; ci sono riusciti. Un ricordo di quando ero piccolo, avevo nove anni. Ero sul divano a leggere un racconto di pirati. Il cane del protagonista moriva e io da quel giorno mi sono chiesto cosa fosse la morte, in cosa la vita fosse destinata a risolversi. Cosa succede a un bambino quando scopre che le persone sono destinate a finire, quando entra in possesso di una conoscenza che rimane incomprensibile? Nel libro il cane non compariva più, nella vita, ciò che ci abbandona ci svuota. Solo ricordi.

Non sono più solo un Ebreo, il sogno si fa più forte, diventa lucido. L'Ebreo

– Ты, у забора, вместе с остальными: лицом к стене!

Звучит щелчок затвора, как крещение пули, готовой в бой.

Я Еврей, и я знаю, что в чем-то виноват.

– Один из вас украл на кухне еду. Это запрещено. Есть правила, и *вы обязаны* их соблюдать. Или виновный признается, или пятеро из вас расплатятся за остальных своей шкурой!

В ряду пятнадцать евреев, и пятеро из них обречены. Я не хочу об этом думать, но мне приходится – ведь я знаю, что остальные думают о том же самом. Пятнадцать евреев, пятеро приговоренных, у каждого из нас один шанс из трех погибнуть прямо сейчас. Шансы выжить увеличиваются со смертью каждого следующего из пяти. Здесь пятнадцать оболочек, и каждая из них может стать жертвой чужой вины. Но неужели мы думаем именно об этом? О том, что признание вины может принести удовлетворение? Если бы в содеянном признался мой сосед, моя вина бы удвоилась. Стоило бы только выйти вперед мне самому, тем самым я спас бы жизнь четырнадцати человек. Если бы я понадеялся на судьбу, то обрек бы на смерть пятерых евреев. А что, если бы я изменил свое решение после расстрела первого, второго или третьего?... Не знаю, что бы я тогда подумал. Лишь одно я знаю точно: пятнадцать евреев сейчас заняты такими же расчетами, и никто из них не решается посмотреть другому в глаза. Никто, кроме виновника – кроме меня. Каждый мечтает выжить, каждый уже задумывался о том, чтобы принести себя в жертву, и теперь четырнадцать человек возлагают свои надежды на виновника. А он один надеется на четырнадцать человек. Они хотели сделать из нас вместо людей числа – и у них это получилось. Вспомнилось, как в детстве я, девятилетний мальчик, читал, сидя на диване, книжку про пиратов. В ней умерла собака главного героя, и я с тех пор стал задумываться о том, что такое смерть и чем заканчивается жизнь. Что происходит с ребенком, когда он обнаруживает, что человеческой жизни приходит конец, когда ему открывается знание, неподвластное осмыслению? В книге собака больше не появлялась, а в жизни то, что покидает нас, оставляет за собой пустоту. И воспоминания. Теперь я уже не просто еврей: сон становится более насыщенным, приобретает от-

sono io che ho smesso il solo dormire per iniziare a sognare. Da quando il sogno è diventato in prima persona? Sono uno scrittore infelice che dall'età di nove anni si domanda cosa sia morire. Molti scrittori sono infelici, molti si uccidono. Perché chi scrive, scrive? Perché chi scrive è infelice? Gli infelici hanno smesso di vedere i contenuti, ma continuano a conoscerli bene. Vivono nella nostalgia di quelle essenze, vivono del passato ed è così che cercano nuovi modi di vedere le cose; studiano i ricordi. È la dannazione dell'artista, ma le parole, a differenza di immagini, forme o melodie, fanno di chi legge un artista. L'infelicità mi ha portato a scrivere, scrivere mi ha portato a sognare. Finalmente nel sogno posso avere la risposta... Hanno provato a renderci numeri e ci sono riusciti, ma ora un Ebreo colpevole di avere fame, può dare risposta a quell'*essere* infelice. Sono un uomo e ammetto la mia colpa. Una guardia mi si avvicina da dietro: "Sei stato tu?". Annuisco.

"Bene, hai due minuti per ripensare alla tua vita".

Non mi servono più due minuti, ho vissuto di ricordi. Voglio unicamente la mia risposta, così da portarla con me al risveglio. Cosa c'è dopo la morte?

Mi volto verso la guardia con il sorriso sulle labbra, non faccio in tempo a girarmi, imbraccia il fucile e un foro perfetto in mezzo alla fronte cancella le mie colpe. Mi vedo con gli occhi degli altri. Sono vivi e tristi. Mi sento strano, morto ma cosciente. Vorrei rimanere attaccato al mio corpo, cerco le mie mani per afferrarle. Devo dare memoria a quel contenitore, riempirlo di esperienze, riempirlo di queste nuove sensazioni, di questa nuova vita.

Mi sveglio.

Sesto passo: ritorno.

La plumbea luce che penetrava la porta a vetri del balconcino era il migliore dei buongiorno.

Cosa accade di speciale nella notte? Si sogna. Ecco che ci svegliamo con una pallida ma sufficiente voglia di scrivere. Ho sognato di morire, ho sognato di

четливые очертания. Теперь Еврей – это я, который уже не просто спит, а видит сон. Когда же в этом сне рассказ пошел от первого лица? Я несчастливый писатель, который с девятилетнего возраста задумывается о том, что такое смерть. Многие писатели несчастливы, многие лишают себя жизни. Почему пишут те, кто пишет? Почему те, кто пишет, несчастливы? В своем несчастье они уже не видят содержимого вещей, но сохраняют знание о нем. Они тоскуют о сущности былого, живут прошлым и в нем пытаются отыскать новое видение вещей. Они изучают воспоминания. В этом проклятие художника – но именно слова, в отличие от изобразительных, скульптурных форм или мелодий, делают читателя художником. Несчастье побудило меня писать, а творчество дало возможность грезить. Во сне я наконец получу ответ на свой вопрос... Они хотели сделать из нас вместо людей числа, и у них это получилось, но теперь еврей, виновный в том, что голоден, может дать ответ этому *несчастному* существу. Я человек – и я признаю свою вину. Надсмотрщик подходит ко мне со спины и спрашивает:

– Это сделал ты? Я киваю.

– Что ж, у тебя есть две минуты, чтобы вспомнить свою жизнь.

Две минуты мне не нужны: я провел всю жизнь в воспоминаниях. Я хочу только одного: получить ответ на свой вопрос и сохранить его при себе в момент пробуждения. Что ждет нас после смерти?

Я с улыбкой поворачиваюсь к надсмотрщику, но успеваю увидеть лишь то, как он вскидывает автомат, и отверстие ровно посередине лба тут же освобождает меня от вины. Я вижу себя глазами остальных. Они живые и печальные. Я чувствую себя очень странно: мертвым, но в сознании. Мне не терпится уцепиться за собственное тело, я пытаюсь нащупать свои руки, потрогать их. Я должен вернуть этой оболочке воспоминания, наполнить ее опытом, насытить ее новыми ощущениями, новой жизнью.

Я просыпаюсь.

Шаг шестой: возвращение.

Свинцовое свечение, которое просачивалось сквозь створки балконной двери, было лучшим из пожеланий доброго дня.

scegliere di morire. Ho scelto così, per dare contenuto alla mia esperienza. Non mi sono mai sentito così vivo come in quel momento indefinito in cui ero un Ebreo morto.

Scrivere è dare un nuovo significato alle cose, ordinarle in una sequenza armonica. Come una danza che, passo dopo passo, si volge alla chiusura. Quando uno scrittore finisce la sua opera, quando finisce i sogni... gli rimane l'infelicità.

Ultimo passo: conclusione.

Alzarsi, farsi guidare dalle proprie idee. Aprire la porta a vetri. Salire in piedi sul davanzale e iniziare a sognare.

Что же такого особенного происходит в ночи? Мы видим сны. Именно поэтому мы просыпаемся со смутным, но вполне убедительным желанием творить. Мне приснилось, что я умер, приснилось, что я выбрал смерть. Я принял такое решение, чтобы наполнить содержанием мой опыт. Никогда еще я не чувствовал себя настолько живым, как в тот момент, когда был мертвым евреем.

Писать – значит наделять вещи новым смыслом, выстраивать их в гармоничную последовательность. Подобно танцу, она шаг за шагом близится к своему завершению. И когда писатель подводит свое произведение к финалу, когда все сны уже закончились, все, что остается, это тоска.

Шаг последний: заключение.

Ты поднимаешься, следуешь велению собственного замысла. Распахиваешь дверь на балкон. Встаешь на карниз и начинаешь мечтать.

Nota critica

“Perché chi scrive, scrive?” Ecco la questione che Michele Grignaffini pone al centro del suo racconto *Risveglio*. Da tale questione altre ne derivano: chi muove la mano dell’uomo per indurla all’atto di scrittura? e secondo quali leggi avviene il transito dal reale al possibile linguistico?

Protagonista del racconto è un Io narrante, ovvero uno scrittore che parla in prima persona. Grignaffini, passo dopo passo, sottopone l’Io narrante a una lucida autoanalisi, registrando con precisione i moti dello spirito che lo inducono a scrivere, chiamandolo a dare vita a una forma.

Grignaffini ci fa partecipare al processo di creazione del racconto proprio mentre il racconto prende vita, prende corpo.

Il processo creativo è al servizio di una chiamata, ci dice l’Io narrante. Per chi scrive, sottrarsi a questa chiamata non significherebbe solo mancare alla propria opera, ma anche opporsi a quanto di più autentico c’è in lui, nelle figure della sua interiorità, nei suoi sogni. A questo proposito scrive Rainer Maria Rilke: “I profondi cieli stanno davanti a lui pieni di figure / e ognuna può gridargli: vieni, riconosci”. Quelle “figure” rappresentano quanto c’è di più intimo nell’essere umano (l’infelicità, la colpa, la paura...) e impongono a chi scrive di metterle in scena.

L’immagine del lavoro del narratore che si ricava da *Risveglio* è quella di un lavoro su di sé, sui propri processi inconsci (non a caso è citato Proust in uno degli snodi principali del racconto), un lavoro in cui le difficoltà da superare concernono soprattutto il sentimento dell’autenticità.

Il compito di chi scrive consiste proprio in questo: nella capacità di porsi in ascolto delle proprie voci interiori. È questo ascolto ad aprire le labbra dell’essere umano.

Flavio Ermini

Отзыв о рассказе

«Почему пишущий пишет?» Этот вопрос – основной в рассказе Микеле Гриньяффини «Пробуждение». Но попытка разгадать этот ребус ставит перед читателем новые вопросы: что движет рукой человека, призывая его к творчеству? И по каким правилам происходит переход от реальности к описанной словами вероятности?

Главный герой «Пробуждения» – рассказчик, то есть писатель, говорящий от первого лица. Шаг за шагом Гриньяффини заставляет его тщательно анализировать самого себя, внимательно наблюдая за порывами души, которые подталкивают к писательству, призывают наполнить форму жизнью.

Гриньяффини позволяет нам стать участниками процесса создания рассказа, увидеть, как он крепнет и набирается сил.

Как утверждает рассказчик, творческий процесс подвластен внутреннему зову. Не откликнувшись на этот зов, пишущий не только изменит творчеству, но и предаст самого себя, хранимые в душе образы, мечты. Об этом говорил Райнер Мария Рильке: «В глубинах неба образы и лица. Вот-вот услышит зов он: Отыщи!». Эти «образы» и есть самые сокровенные порывы человеческой души (несчастье, вина, страх...), которые требуют от писателя выразить их в своем творчестве.

В «Пробуждении» задача рассказчика представлена как работа над собой, как анализ собственного бессознательного (неслучайно в один из ключевых моментов повествования упоминается Пруст), как труд, сложность которого заключается в том, чтобы сохранить ощущение подлинности.

Пишущий должен научиться слышать собственный внутренний голос. И тогда слова найдут выход из человеческих уст.

Флавио Эрмини

Biografia

Michele Grignaffini (Parma, 1985). Studia Scienze e tecniche psicologiche presso l'Università di Parma. Ha lavorato per diverso tempo a capo di una squadra di operatori nel campo del marketing. Ha seguito un corso di formazione di un anno per la recitazione in stile "teatro dell'oppresso". Collabora nella revisione di cinque romanzi scritti dal padre, dei quali due già pubblicati. Si occupa di arte figurativa e di musica, ma il suo principale interesse è rivolto alla scrittura – in poesia e in prosa.

Биография

Микеле Гриньяффини родился в 1985 году в Парме, где живет по сей день и учится на психологическом факультете университета. Несколько лет возглавлял рабочую группу маркетологов. Прослушал годовой курс актерского мастерства в стилистике «театра подавленных желаний». Работает над редакцией пяти романов, написанных его отцом, два из которых опубликованы. Занимается изобразительным искусством и музыкой, однако его главная страсть – литература. Пишет стихи и прозу.

Marta Manfioletti

Traduzione in russo di Ivan Semënov

Марта Манфьолетти

Перевод Ивана Семёнова



BELLEROFONTE

Chi una volta affrontò la Chimera, come può rassegnarsi a morire?

Cesare Pavese, *Dialoghi con Leucò*

Il magistrato Bellerofonte fissava ormai da diversi minuti il vecchio chiodo da cui pendeva la foto incorniciata del canuto Presidente della Repubblica. Nel frattempo almeno tre persone erano entrate e uscite dall'ufficio e il telefono aveva squillato con entusiasmo per un minuto intero, ma nessun intervento esterno sembrava scalfire l'autistica concentrazione del magistrato.

Stava ricordando di come la signora T., molti anni prima, avesse tentato di sedurlo. In diverse occasioni la donna aveva cercato di guadagnarsi le attenzioni di Bellerofonte con sguardi civettuoli, carezze furtive, risatine e battiti di ciglia, ma Bellerofonte, per quanto possedesse una vista rapace, si era sempre dimostrato cieco dinanzi al malcelato corteggiamento: un'aquila ama fiaccare da sé la propria preda, e disdegna quella sulla quale il tempo ha già troppo inferito. Il dottor T., marito dell'ardita signora, era, nei fatti, il diretto superiore di Bellerofonte, e se già una tale parentela poteva scoraggiare un giovane magistrato a inizio carriera dall'intraprendere sconvenienti sentieri, certamente l'età avanzata della donna non lasciava né dubbi né rimpianti. Tuttavia, la risolutezza con cui Bellerofonte si era opposto all'adulterio non era bastata a scongiurare l'insidia, e la signora, ferita certamente nel proprio orgoglio di seduttrice, aveva raccontato al marito di come quel Bellerofonte, quello sfacciato giovanotto, avesse tentato – invano, s'intende – di sedurla con quel suo fascino imberbe e quelle lusinghe insolenti. Risultato della mendace delazione era stato un tempestivo ordine di trasferimento. La notizia era arrivata una mattina di dicembre, in contumacia, mentre Bellerofonte si trovava fuori città per alcune faccende private; per tutto il giorno funzionari e impiegati non avevano smesso di borbottare, commentando con smorfie compassionevoli la sorte che attendeva l'inconsapevole Bellerofonte. Era con una distinta sfumatura di timore che le parole Magna e Grecia venivano pronunciate.

БЕЛЛЕРОФОНТЕ

«Разве тот, кто однажды одолел Химеру, может смириться с неизбежностью собственной смерти?»

Чезаре Павезе, «Диалоги с Леуко»

Судья Беллерофонте вот уже несколько минут смотрел на выдавший виды гвоздь, на котором висела рамка с фотографией седовласого Президента Республики. За это время по крайней мере три человека успели войти и выйти из кабинета, и уже целую минуту настойчиво звонил телефон, но, казалось, ничто не могло вывести судью из задумчивого оцепенения.

Он вспоминал, как много лет назад его пыталась соблазнить синьора Т. При всяком удобном случае эта дама старалась привлечь к себе его внимание томными взглядами, нежными, как бы случайными прикосновениями, игривым хихиканьем и кокетливыми взмахами ресниц, но Беллерофонте, хотя и обладал орлиным зрением, упорно делал вид, что не замечает ее откровенных заигрываний: орлы сами выбирают себе жертву и никогда не позарятся на поживу, если она отдает тухлятиной. Синьор Т., муж пылкой дамы, был начальником Беллерофонте, и если одного этого было достаточно, чтобы удержать начинающего судью от рискованного шага, далеко уже не юный возраст соблазнительницы позволял ему отвергнуть ее притязания без малейших колебаний и сожалений. Однако решительность, с которой Беллерофонте противостоял всем попыткам втянуть себя в адюльтер, оказалась бессильна перед женским коварством, и уязвленная гордость искусительницы заставила синьору Т. пожаловаться мужу, будто этот его Беллерофонте, этот бесстыжий мальчишка, пользуясь обаянием молодости и наглой лестью, пытался – разумеется, безрезультатно – соблазнить ее.

Следствием лживого навета стал спешный приказ о переводе молодого судьи на новое

Era stato così che Bellerofonte si era ritrovato, ormai vent'anni prima, a varcare la soglia di quello stesso palazzo che oggi ospitava l'ipnotico chiostro, e le ragioni ufficiali che lo avevano condotto in quella regione tremenda e magnifica non avevano niente a che vedere con donneschi capricci; la sua missione era stata formalizzata e impressa con le nitide lettere di un'Olivetti su di un foglio A4: sconfiggere la Chimera.

Mai nessuna bestia era stata oggetto di chiacchiere quanto la Chimera, e allo stesso modo mai si era parlato tanto di qualcosa senza davvero dir nulla al riguardo. Tante e tanto terribili erano le storie che si narravano, che si sarebbe potuto pensare a delle favole per intimorire i bambini, eppure le ginocchia di Bellerofonte, quando il magistrato rifletteva sul nuovo incarico, erano prese da un insolito tremore. Cento e più uomini di legge erano partiti alla volta della Magna Grecia con l'incarico di sconfiggere il mostro, e tra loro non ve ne era uno che avesse fatto ritorno.

Il giorno dell'insediamento, lungo il tragitto verso l'ufficio, Bellerofonte aveva visto per la prima volta quei luoghi di cui tanto aveva letto, e gli era parso che le parole dei poeti avessero catturato perfettamente la natura di quella terra assieme aspra e invitante, arida e rigogliosa. Dopo mezz'ora di tragitto, superata l'ennesima collina arsa dal sole, Bellerofonte aveva scorto un filo di fumo levarsi da un campo, e aveva chiesto all'autista di cosa si trattasse. "È il motivo per cui lei si trova qui", aveva risposto laconico quello. Poi l'auto si era avvicinata e il magistrato aveva potuto vedere con più chiarezza: stagliate sull'orizzonte, rovine fumanti levavano arti carbonizzati al cielo in una muta supplica.

Più si avvicinavano alla città, più si facevano frequenti le tracce di un flagello che non aveva risparmiato nulla: carcasse di bestiame costellavano i pascoli, le carni straziate a rivelare il candore delle ossa, anneriti scheletri d'auto giacevano abbandonati ai bordi della statale, e l'erba strinata e calpestata univa, come in un gioco enigmistico, quei puntini di devastazione.

Un mese dopo l'insediamento nel nuovo ufficio, Bellerofonte si era già guadagnato la stima dei propri colleghi e sottoposti. Eppure una vena di condiscendenza intaccava ogni loro parola, e il magistrato riconosceva in quel compatimento la stessa indulgenza che si riserva alle bestie condotte al macello. Ciononostante Bellerofonte non s'era sottratto ai propri doveri e, persuaso del fatto che la conoscenza fosse il più valido rimedio contro la paura, si era speso per scoprire in che misura le fantasie che aveva sentito fino ad allora corrispondessero alla realtà.

место. Известие о приказе пришло декабрьским утром в отсутствие обидчика синьоры Т., уехавшего из города по каким-то личным делам, и весь день работники суда без устали шушукались, обсуждая с сочувственными лицами дальнейшую судьбу ни о чем не подозревающего Беллерофонте; при этом в их голосах отчетливо слышались нотки страха, когда они произносили слово «Великая» и слово «Греция».

В результате этой истории двадцать лет назад Беллерофонте переступил порог кабинета, чья стена служила сегодня пристанищем обладающему магнетической силой гвоздю, однако официальной причиной, которая привела его в эти страшные и в то же время прекрасные края, был не женский каприз: цель нового назначения зафиксировал четкий шрифт пишущей машинки «Оливетти» на листе формата А4: «Уничтожить Химеру».

Никогда еще ни одна тварь не становилась предметом стольких разговоров, как Химера, и в то же время никогда еще ни о чем не говорили, ничего на самом деле не говоря. Нескончаемые истории, которые рассказывали о ней, были такими страшными, что больше походили на сказки-страшилки для малышей, и тем не менее при мысли о порученной ему миссии у Беллерофонте всякий раз предательски дрожали колени. Уже добрая сотня судей отправлялась до него в Великую Грецию с заданием уничтожить чудовище, и ни один из них не вернулся обратно.

В день приезда, по дороге к зданию суда, Беллерофонте впервые увидел места, о которых так много читал, и убедился, что поэты в своих стихах великолепно запечатлели природу здешнего края, одновременно сурового и чарующего, засушливого и цветущего. После получаса езды, когда они преодолели очередной, выжженный солнцем, холм, Беллерофонте заметил струйку дыма, поднимающуюся над полем, и спросил у водителя, что этот дым означает.

– Это именно то, ради чего вы здесь, – лаконично ответил тот.

Они проехали еще немного, и судья отчетливо увидел силуэты дымящихся руин на горизонте, которые в немой мольбе простирали к небу обуглившиеся культы.

Чем ближе они подъезжали к городу, тем чаще им попадались следы бедствия, которое,

Aveva interrogato quante più persone poteva, di ogni estrazione sociale e di ogni parte dell'isola, ma ciò che ne aveva cavato erano solo immagini vaghe e dettagli ininfluenti: nessuno che fosse mai entrato in contatto col mostro, nessuno che lo avesse mai visto dal vero; alcuni ne negavano persino l'esistenza. Pareva a Bellerofonte che le tanto frequenti chiacchiere e allusioni a mezza voce svanissero ogniqualvolta si cercasse di ancorarle a un fatto, un luogo, una data. Eppure la devastazione era reale, reali erano gli incendi, le greggi massacrate, le sparizioni improvvise, reale era il foglio che gli avevano messo in mano e su cui si leggeva distintamente la parola "Chimera", e Bellerofonte sapeva che la gente che redige quel tipo di lettere ha i piedi ben piantati per terra.

Un giorno, il secondo in comando di Bellerofonte, avendolo visto più scoraggiato del solito, lo aveva preso da parte e gli aveva raccontato della fine del suo predecessore. Questi tanto aveva insistito che era riuscito a convincere un uomo a rivelargli dove si trovasse il rifugio del mostro. La Chimera, dopo aver fatto a pezzi la spedizione mandata ad ucciderla, aveva arso la casa del delatore col suo fiato incendiario. Non si sapeva se avesse seguito l'usta dell'uomo o se fosse stato qualche altro segno a guidarla: una sola famiglia perita tra le fiamme era bastata a mettere a tacere un'isola intera. Così Bellerofonte in tanti anni non aveva ottenuto molti indizi, e tutti i dettagli raccolti sulla Chimera riempivano a malapena dieci pagine del taccuino del magistrato. Non c'era da stupirsi che nessuno riuscisse a descrivere quel mostro, si trattava di una bestia ambigua, un animale maschio dal nome femminile, una creatura dalle molteplici nature. Aveva teste di leone, di capra e di serpente: la prima guidava il corpo guardando in avanti e sputando alte fiamme cangianti; la seconda, posta a metà del dorso, sorvegliava le spalle guardando indietro; e la terza, tutt'uno con la coda, frustava e avvelenava il nemico. Viveva nell'entroterra, in una zona remota in cima a un'altura, si cibava di uomini e bestiame e il suo verso agghiacciante era udibile da grandi distanze.

Questi pochi dettagli avevano tormentato le notti del magistrato, affollandole di sogni popolati da creature feroci e disumane. Poi, una notte, la soffiata.

Bellerofonte staccò gli occhi dal chiodo ripiegando la lettera che aveva tenuto in mano per tutto quel tempo. I suoi superiori si erano nascosti dietro un foglio di carta vent'anni prima, affidandogli l'incarico, e ora stavano facendo la stessa cosa, togliendoglielo.

Aveva ucciso la Chimera. Vent'anni gli ci erano voluti per compiere l'impossibile, vent'anni in cui

судя по этим следам, не щадило никого и ничего: пастбища, усеянные трупами домашнего скота, растерзанная плоть животных, из которой наружу торчали белые кости, почерневшие остовы брошенных по краям шоссе машин, вытоптанная и выжженная трава, – все эти ужасные картины выстраивались, подобно пазлам, в единую картину бедствия. За месяц работы на новом месте Беллерофонте успел завоевать уважение коллег и подчиненных. Однако в каждом их слове сквозила доброжелательность, в которой судья видел снисходительную жалость, с какой относятся к животному, обреченному на убой. Несмотря на это, Беллерофонте не стал отказываться от выполнения возложенной на него миссии, и, будучи убежденным в том, что знание является лучшим средством против страха, попытался выяснить, в какой степени фантастические истории о Химере, которые он до этого слышал, соответствовали действительности.

Он опросил массу людей из разных социальных слоев и из разных частей острова, но все, что сумел выяснить о Химере, оказалось лишь смутными предположениями и несущественными деталями: никто никогда не сталкивался с этой тварью, никто никогда не видел ее воочию, а некоторые вообще не верили в ее существование. Беллерофонте раз за разом убеждался, что все бесчисленные истории о Химере, которые шепотом передавались из уст в уста, рассыпаются, как карточные домики, при малейшей попытке привязать их к какому-нибудь точному факту, месту или дате. Однако творившееся вокруг было реальностью, реальными были поджоги, убитые стада, таинственные исчезновения людей, реальным был врученный ему перед отъездом лист бумаги, на котором обращало на себя внимание слово «Химера», и Беллерофонте прекрасно знал, что авторы подобного рода документов – люди, твердо стоящие на земле.

Однажды помощник Беллерофонте, заметив, что судья близок к тому, чтобы окончательно пасть духом, отвел его в сторону и поведал печальную историю его предшественника. Прежний судья, проявив настойчивость, убедил одного человека сказать ему, где находится логово монстра. Кончилось тем, что Химера, перебив отряд, посланный уничтожить ее, сожгла своим огненным дыханием дом доносчика. Неизвестно, нашла ли она дом этого человека по запаху или по каким-то другим приметам,

solo la caccia aveva sospinto i suoi passi, e solo la preda aveva animato i suoi sogni. Aveva trionfato quando era stato mandato a morire, e il suo nome, ormai noto anche al di là del mare, era pronunciato con ammirazione e deferenza. E proprio ora che Bellerofonte cominciava a conoscere i mostri, doveva abbandonare quella terra che ne era piena: l'uccisore della Chimera era stato sconfitto senza un colpo, costretto alla fuga dal timore altrui.

Cosa rimane alla preda che si è fatta predatore, se le viene impedito di cacciare?

но одной семьи, сожженной заживо, оказалось достаточно для того, чтобы заставить молчать всех жителей острова.

За долгие годы поисков Беллерофонте мало продвинулся вперед: все, что ему удалось выяснить о Химере, умещалось на десяти страницах блокнота. Не было ничего удивительного в том, что никто толком не мог описать внешний вид Химеры, – ведь в этом двойственном существе мужского пола с женским именем причудливым образом соединялись черты сразу нескольких животных. У Химеры было три головы – льва, козы и змеи. Первая направляла тело, глядя вперед и извергая разноцветные струи пламени; вторая находилась в середине спины и, обращенная вспять, могла контролировать то, что делается сзади; третья, являясь частью хвоста, хлестала и жалила врага смертельным ядом. Обитала Химера в глубине острова, на вершине горы, питалась людьми и домашним скотом, и ее леденящий душу рык был слышен за многие километры.

Эти немногочисленные сведения о Химере мучили судью по ночам, наполняя его сны свирепыми безжалостными чудовищами. Но однажды ночью некий осведомитель...

Беллерофонте отвел взгляд от гвоздя и сложил в несколько раз письмо, которое все это время держал в руке. Двадцать лет назад начальство спряталось за листом бумаги, отправляя его сюда с определенным заданием, и вот теперь оно таким же трусливым образом сообщало ему, что задание поручается другому.

Он убил Химеру. Ему понадобилось двадцать лет, чтобы сделать невозможное, и все эти годы единственной движущей силой был для него охотничий инстинкт, и все эти годы он мечтал о встрече с чудовищем. Он вышел победителем из схватки, в которой обречен был погибнуть, и его имя стало широко известно даже за морем: повсюду теперь его произносили с исключительным уважением. И именно сейчас, когда Беллерофонте стало что-то известно о чудовищах, он должен был покинуть край, полный этих чудовищ: победитель Химеры оказался побежденным без единого удара, вынужденный бежать от страха, но не собственного, а чужого.

А что остается делать жертве, ставшей хищником, если ее лишают возможности охотиться?

Nota critica

C'è un mostro. Si chiama Chimera. Marta Manfioletti ci indica che vive in una “terra assieme aspra e invitante, arida e rigogliosa”. Una terra come tante altre, insomma. Lì, il mostro “devasta”, “incendia”, “massacra”. Il mostro domina su quella terra incutendo paura nella popolazione, con il suo “verso agghiacciante”, “udibile da grandi distanze”.

C'è anche un uomo. Si chiama Bellerofonte. Il suo nome dà il titolo al racconto. Bellerofonte è un magistrato e viene mandato a sconfiggere la Chimera, a compiere una missione in cui “cento e più uomini di legge avevano fallito”. E contrariamente a tutte le previsioni (anche di coloro che gli avevano dato l'incarico) sconfigge la Chimera. Come? Sconfiggendo in primo luogo l'ignoranza, elemento di cui il mostro si nutre, e affidandosi alla conoscenza: una conoscenza obiettiva, senza veli né illusioni.

I misteri non si spiegano; nei misteri ci s'inoltra con la propria esperienza; combattendo, sì, il nemico che nel mistero s'incarna, ma prima “conoscendolo”.

Le devastazioni della Chimera sono sotto gli occhi di tutti, eppure, ci narra Marta Manfioletti, sembra che nessuno sia mai entrato in contatto con il mostro; tanto che alcuni ne negano persino l'esistenza, così come normalmente si nega che un mostro si celi nel fondo oscuro della nostra coscienza.

La violenza è un tratto costitutivo dell'umanità. La storia dell'uomo – fatta di guerre e di lotte fratricide – è lì a dimostrarlo. Registra l'autrice: con la conoscenza e con la consapevolezza il male diventa manifesto ed è possibile sconfiggerlo.

Profonde sono le implicazioni psicologiche, politiche e culturali che s'intrecciano in questo racconto, così come molte sono le suggestioni mitiche alle quali i nomi dei protagonisti rimandano. Viene lasciato al lettore il compito di coglierle e interpretarle.

Flavio Ermini

Отзыв о рассказе

Живет на свете чудовище. И зовут это чудовище Химерой. От Марты Манфьолетти мы узнаем, что оно обитает в краю «одновременно суровом и чарующем, засушливом и цветущем». В общем, в самом обычном краю, коих в мире превеликое множество. Этот монстр «не щадит никого и ничего». Чудовище терроризирует местных жителей, вселяя в них ужас своим «леденящий душу рыком», который «слышен за многие километры». А еще живет на свете человек, которого зовут Беллерофонте. Его именем и назван рассказ. И вот, этот самый Беллерофонте, простой судебный чиновник, получает задание отправиться в «суровый и чарующий» край и уничтожить Химеру – жестокое чудовище, сгубившее свыше сотни таких же смельчаков, как он. Вопреки всем ожиданиям (в том числе и ожиданиям тех, кто возложил на него эту миссию) наш герой побеждает Химеру. Каким образом? В первую очередь, за счет того, что сначала побеждает собственное невежество, вооружившись объективными знаниями, отринув глупые страхи и иллюзии. Изуверства, которые творит Химера, происходят у всех на глазах, однако, по словам Марты Манфьолетти, местные жители в один голос утверждают, что никогда не сталкивались с этой тварью, а некоторые даже не верят в ее существование – так всем нам не хочется признаваться, что где-то во тьме, в самой глубине души, в каждом из нас прячется Химера.

Насилие – неотъемлемая черта человеческой природы. История нашей цивилизации, которая представляет собой нескончаемую череду кровопролитных братоубийственных войн, наглядно демонстрирует это. Автор рассказа убеждена, что разоблачить и победить окружающее нас зло можно лишь разбудив свой разум.

В рассказе переплетаются психологические, политические и культурологические аспекты, в нем также много отсылок к мифам, о чем можно легко догадаться по именам героев. Впрочем, предоставим читателю возможность самому найти и осмыслить все эти подтексты.

Флавио Эрмини

Biografia

Marta Manfioletti (Padova, 1987) coltiva da sempre una profonda passione per le parole e per la tecnologia. Tiene un blog, *e-letteratura*, dedicato all'editoria e alla lettura in digitale. Ha studiato Lettere e linguistica all'Università di Padova, e attualmente è iscritta al dottorato di ricerca in Linguistica presso l'Università di Verona. *Bellerofonte* è il primo racconto che ha deciso di presentare al grande pubblico.

Биография

Марта Манфьоолетти родилась в 1987 году в Падуе. Всегда испытывала неподдельный интерес к художественному слову и компьютерным технологиям. Ведет свой блог под названием *e-letteratura*, посвященный изданию и чтению книг в электронном формате. Изучала литературу и лингвистику в Падуанском университете; в настоящее время – аспирантка Веронского университета. «Беллерофонте» – первый рассказ, который она решила представить на суд широкой общественности.

Sabrina Sansalone

Traduzione in russo di Zinaida Ložkina

Сабрина Сансалоне

Перевод Зинаиды Ложкиной



L'ULTIMO NATALE (GLI ULTIMI NATALI)

La jeep correva da ore su una strada sterrata, nella pianura del Serengeti, in Africa. La guida spiegò che Serengeti deriva da Serengit, che in lingua Masai vuol dire “pianura senza fine”. E veramente infinita doveva apparire quella monotona savana ai Masai, che si muovevano, e si muovono ancor oggi, prevalentemente a piedi.

Subito dopo quella spiegazione, sua moglie colse un'ombra nel suo sguardo. “A cosa pensi?” gli chiese. Le rispose con un sorriso dicendole: “Grazie di avermi offerto questo viaggio per festeggiare il mio pensionamento; è proprio bello”. Ma lei conosceva quello sguardo talora triste, gli si avvicinò e poggiò il suo capo sulla sua spalla.

“Chissà se in russo esiste una parola specifica che significhi ‘pianura senza fine?’”, si chiese l'uomo. E i suoi pensieri andarono a un'altra pianura, ma innevata, gelata, di un inverno, di tanti anni prima, dell'ultimo inverno di suo padre, che non era più tornato, che lui non aveva mai conosciuto.

Aveva letto e riletto tutte le lettere che suo padre aveva spedito dal fronte. Le aveva lette da bambino, da adolescente, da uomo, aveva cercato di immaginare suo padre, di conoscerlo dalle sue parole, dai suoi scritti. La sua ultima lettera era la più lunga, tante e tante pagine, l'aveva scritta nel periodo del suo ultimo Natale, anzi proprio il giorno di Natale... i giorni di Natale, l'ultimo Natale, gli ultimi Natali.

Quante volte si era figurato quei giorni, quei momenti, quella pianura sterminata, ghiacciata..., senza fine.

Il fronte tagliava in due una piccola città in riva a un lago, all'estuario di un piccolo fiume. Gli Italiani avevano occupato per alcuni mesi tutta la cittadina; poi sotto la pressione dei Sovietici si erano ritirati nella parte occidentale. Un antico ponte che collegava le due parti della cittadina, stranamente, non era stato fatto saltare; ma era

ПОСЛЕДНЕЕ РОЖДЕСТВО (ДВА ПОСЛЕДНИХ РОЖДЕСТВА)

Уже много часов их джип ехал по грунтовой дороге, посреди африканской равнины Серенгети. Гид объяснила: название Серенгети происходит от масайского слова «siringet», что означает «бесконечная равнина». Народу масаи эта монотонная саванна действительно должна была казаться бесконечной – ведь они, как правило, передвигались и до сих пор передвигаются пешком.

Тотчас после этих слов жена заметила, как потемнел его взгляд. Спросила: «О чем ты думаешь?» Он ответил с улыбкой: «Спасибо, что подарила мне путешествие в честь выхода на пенсию. Все просто замечательно». Но она знала этот взгляд, порою такой грустный. Придвинулась ближе, положила голову ему на плечо.

«Интересно, есть ли в русском языке особое слово для обозначения бесконечной равнины?» – подумал мужчина. И мысленно перенесся на совершенно другую равнину – зимнюю, замерзшую, заснеженную. На много лет назад, в последнюю зиму отца, которого он не знал, – тот так и не вернулся с войны.

Он по многу раз читал отцовские письма с фронта. Читал в детстве, в юности, во взрослой жизни, пытаясь по словам и фразам узнать отца, представить его себе. Последнее письмо было самым длинным. Отец писал эти страницы в дни своего последнего Рождества. Точнее, в самый первый день, на Рождество. Последнее Рождество, два последних Рождества...

Сколько раз он представлял себе те дни, ту бескрайнюю ледяную равнину! Бесконечную равнину.

Линия фронта разрежала городок пополам. Несколько месяцев итальянцы занимали его весь, но затем под натиском советских войск отступили на запад. Городок стоял на берегу озера, в устье небольшой речки. Старый мост, соединявший две половины городка, почему-то не взорвали, но обе артиллерии держали его под прицелом.

sotto il tiro incrociato delle due artiglierie. Tutt'intorno la gelida pianura infinita... L'inverno era rigido e le operazioni belliche languivano. C'erano giorni in cui non si sentiva quasi colpo d'armi. Stranamente si riuscì a instaurare anche un certo dialogo, inizialmente con messaggi scritti, che venivano lanciati da una estremità all'altra del ponte. I messaggi erano legati a dei sassi ed erano lanciati per mezzo di rudimentali fionde.

I messaggi parlavano di pace e di fratellanza. Erano scritti con parole semplici nelle lingue straniere conosciute da qualche militare; nella speranza che qualcuno dall'altra sponda le capisse, visto che l'italiano e il russo non erano ben compresi negli opposti fronti. La lingua comune meglio conosciuta risultò infine essere il greco antico. E fu in greco che s'instaurò per giorni un fitto scambio di messaggi. Infine sul ponte avvennero veri incontri di alcuni volontari dei due eserciti.

Era quasi Natale; gli Italiani si preparavano a festeggiarlo con le povere cose che avevano. Gli Italiani chiesero ai Sovietici di non attaccarli almeno per il giorno di Natale.

Il comandante sovietico lo promise. Natale fu un giorno di pace, dolce e triste, con i pensieri alle persone care, alle mogli, ai figli che presto sarebbero nati... La calma continuò anche i giorni successivi e i contatti s'intensificarono con scambi di messaggi, d'incontri, addirittura di piccoli doni con le misere cose che i soldati avevano.

I Sovietici erano ufficialmente atei, ma in segreto molti erano credenti e si preparavano anche loro al Natale. Si avvicinava il Natale ortodosso che si celebra il 7 gennaio. Il comandante italiano confermò a quello sovietico che la tregua sarebbe stata rispettata anche per il Natale ortodosso.

La vigilia del Natale ortodosso i due comandanti s'incontrarono sul ponte, si parlarono a lungo; loro soldati traducevano per loro. Si scambiarono doni. Il comandante italiano offrì dei libri scritti in italiano e anche in greco antico. Il comandante sovietico offrì un libro di poesie di Puškin in russo e italiano e del cibo tipico della vigilia di Natale, che consiste in frutta e grano lesso.

А вокруг простиралась холодная бескрайняя равнина. Зима стояла суровая, военные действия шли вяло. Иногда целыми днями не слышно было оружийных выстрелов. И между сторонами как-то сам собою завязался диалог. Сначала были письменные послания: их перекидывали с одного конца моста на другой – прикрепляли к камням и запускали из обыкновенной рогатки.

В записках говорилось о мире и братстве. Простые слова были написаны на разных иностранных языках, знакомых бойцам, – вдруг кто-нибудь за линией фронта сможет их прочесть? Ведь на одном берегу не понимали по-итальянски, а на другом – по-русски. Постепенно выяснилось, что лучше всего обе стороны знают древнегреческий язык. На нем в последующие дни и пошла активная переписка. Со временем бойцы двух войск даже стали встречаться на мосту.

Рождество приближалось: итальянцы готовились праздновать, хотя запасы продовольствия были скудными. Советскую сторону попросили не нападать, по крайней мере, в первый день Рождества.

Советский командир согласился. Рождество прошло в размышлениях – о дорогих сердцу людях, о женах, о детях, которые готовились появиться на свет. Мирный, спокойный день был напоен сладостной грустью... Затишье продолжилось и в последующие дни. Записок стало больше, встречи участились. Завязался обмен подарками: солдаты дарили друг другу то небольшое, что у них было.

Официально советские люди считались атеистами, но многие втайне верили в Бога и тоже готовились к Рождеству – приближалось православное Рождество, которое празднуют седьмого января. Итальянский командир заверил советского: перемирие будет соблюдаться и во время православного Рождества.

Накануне праздника командиры встретились на мосту. Они долго говорили, а потом обменялись подарками. Итальянский командир преподнес несколько книг, советский командир – томик стихов Пушкина и еще кутью – блюдо из вареных зерен пшеницы с медом и изюмом, которое готовят в Сочельник.

Советский командир сообщил итальянскому, что ему дан приказ начать наступление. И

Il comandante sovietico comunicò al comandante italiano che aveva ricevuto dai suoi superiori l'ordine di attaccare. Il giorno dopo Natale, purtroppo, avrebbe dovuto attaccare. Gli offrì di arrendersi. Il comandante italiano gli disse che, purtroppo, non poteva. Proprio quel giorno aveva ricevuto ordini dalle retrovie, con l'ultima staffetta, con l'ultimo portaordini (che aveva anche ritirato la corrispondenza). Gli ordini erano di non arrendersi, di resistere a oltranza.

I due comandanti parlarono e parlarono a lungo e poi, prima di dirsi addio, si abbracciarono a lungo..., probabilmente piansero.

после Рождества он, к сожалению, будет вынужден пойти в атаку. Предложил сдаться. Но итальянский командир ответил, что, к сожалению, это невозможно: он как раз получил указания из тыла. С последним вестовым, который заодно забрал письма, передан приказ не сдаваться и стоять насмерть.

Долго беседовали два командира. Долго стояли, обнявшись, прежде чем расстаться... Может быть, даже плакали.

Nota critica

Incontrare l'Altro. Conoscerlo non per combatterlo. Conoscerlo per stringere con lui amicizia. Può accadere, ci narra Sabrina Sansalone. Può accadere anche se l'Altro ci viene sempre indicato come il Nemico.

L'insensatezza della guerra sta in questo concetto: qualcuno, lontano dal fronte, affida a un "portaordini" l'ordine di uccidere e il soldato deve uccidere: uccide persone che non conosce e che gli vengono indicate come il Nemico.

L'insensatezza della guerra viene registrata nel racconto *L'ultimo Natale (gli ultimi Natali)* con lucidità, in tutta la sua evidenza.

Sabrina Sansalone ci narra una storia in cui il fronte non è più un confine che separa due battaglioni nemici. Tra i due battaglioni – grazie a una semplice tregua – la pace e la fratellanza sono diventate di casa. Il fronte si viene a creare tra i soldati e coloro che nelle retrovie danno l'ordine di uccidere. La vera diversità non è tra i due comandanti che abitano regioni diverse del pianeta. Il conflitto si è spostato: è tra i comandanti, da una parte, e, alle loro spalle, il potere sordo e cieco che li manda a uccidere e a morire.

Il potere è sordo: chiuso alle parole dell'Altro; il potere è cieco: chiuso alla diversità dell'Altro. Per il potere, l'Altro è il suo inferno. Pace e fratellanza, al contrario, impongono l'accoglienza, il dialogo. Il fronte non è più il luogo della lotta, ma la soglia su cui si realizza l'incontro tra l'"io" e il "tu". Oltre che sordo e cieco, il potere è sempre invisibile. Sta nelle retrovie e il suo comunicare avviene attraverso una serie di ordini: "attaccare", "resistere a oltranza", "non arrendersi". L'incontro tra l'"io" e il "tu", al contrario, è fondato su uno scambio di cibo, per nutrire i corpi, e su uno scambio di libri, per nutrire lo spirito. Tanto che l'"io" e il "tu" diventano due poli interscambiabili, l'uno nell'altro riconoscibili; simboleggiati dalla ricorrenza del Natale, ovvero da un avvento di amore e di pace.

Flavio Ermini

Отзыв о рассказе

Встретить Другого. Узнать Другого – не для того, чтобы сразиться с ним, а чтобы стать друзьями. Такое возможно, – говорит Сабрина Сансалоне. Возможно, даже если нам внушили, что Другой – это Враг.

Война безумна. Некто, находясь вдали от фронта, поручает вестовому передать приказ: «Уничтожить врага!» И солдаты вынуждены убивать тех, кого не знают, тех, кого называют Врагами.

Война безумна, и в рассказе «Последнее Рождество (Два последних Рождества)» мы это видим со всей ясностью и очевидностью.

Сабрина Сансалоне повествует о том, как благодаря перемирию линия фронта перестает быть границей, разделяющей два вражеских батальона. Между батальонами завязываются мирные, дружеские, почти семейные отношения. Теперь линия фронта отделяет всех солдат от тех, кто, находясь в тылу, отдает приказ убивать.

В действительности между командирами из двух разных стран противостояния нет. Командиры – по одну сторону, а по другую – стоящая за ними глухая и слепая власть, которая заставляет убивать и умирать. Власть глуха, и слов Другого она не слышит. Власть слепа, все Другое для нее одинаково. Для власти Другой – это ад. А те, кто живут в мире и дружбе, разговаривают и принимают друг друга, принимают Другого. Линия фронта – уже не место битвы. Это порог, на котором встречаются «ты» и «я».

Власть не только глуха и слепа, а еще и невидима. Она в тылу. Общается посредством приказов: «В атаку!», «Стоять насмерть!», «Не сдаваться!» А когда встречаются «ты» и «я», они обмениваются едой – пищей для тела, и книгами – пищей для души. И постепенно «ты» и «я», эти два полюса, сливаются и проникают друг в друга, а приход Рождества знаменует их слияние. Воцаряются любовь и мир.

Флавио Эрмини

Biografia

Sabrina Sansalone (Santa Margherita Ligure, 1983). Nel corso degli anni ha scritto diversi racconti, senza mai provare a pubblicarli. Di sé scrive: “Mio padre si è ammalato gravemente quando avevo 6 anni ed è morto circa tre anni fa. Ha passato gli ultimi sei anni a casa, in uno stato vegetativo; l’ho assistito con mia mamma e con mia sorella. Perciò ho dovuto lavorare fin da piccola, non ho potuto frequentare le scuole a lungo. Durante il calvario di mio padre, specie nelle lunghe notti eterne, ho letto molti autori di tutto il mondo. Nel 2012, dopo tanto dolore, è nato un fiore, Sofia, e... le mie notti e i miei giorni sono ora rischiarati dal suo sguardo, dal suo riso, dal suo pianto infantile”. Vive a Rapallo.

Биография

Сабрина Сансалоне родилась в 1983 г. в городе Санта-Маргерита-Лигуре. За свою жизнь написала много рассказов, но никогда не пыталась их опубликовать. О себе она пишет: «Когда мне было шесть лет, отец тяжело заболел, а три года назад умер. Последние шесть лет своей жизни он провел дома, в вегетативном состоянии. Мы с мамой и сестрой ухаживали за ним. Так что мне рано пришлось пойти работать, я не смогла посвятить несколько лет учебе. Пока отец нес свой крест, я много читала, – особенно долгими, бесконечными ночами. Читала писателей разных стран. В 2012 г. на свет появился чудесный цветок – София. Теперь мои дни и ночи озаряет ее взгляд, ее смех, ее детский плач». Живет в Рапалло.

Молодые российские переводчики
Giovani traduttori russi



Мария Володина родилась в 1978 г. в Минске. В 2002 г. окончила Минский государственный лингвистический университет по специальности «Современные иностранные языки», в 2006 г. – магистратуру Университета «Рим-3» по специальности «Гендерные исследования». С 2004 г. живет и работает в Риме. Переводчик Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО), имеет ряд научных и литературных публикаций.

Marija Volodina è nata a Minsk nel 1978. Nel 2002 ha conseguito la laurea in Lingue straniere moderne presso l'Università Linguistica Statale di Minsk; nel 2006 ha conseguito il master in Studi di Genere presso l'Università degli Studi Roma Tre. Dal 2004 vive e lavora a Roma. È traduttore dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO), ha pubblicato saggi di carattere scientifico e letterario.



Валентина Кучеровская–Марцева родилась в 1982 г. в Красноярске. В 2005 г. окончила филологический факультет Белорусского государственного университета по специальности «Итальянский язык и литература». С 2006 г. преподает на кафедре зарубежной литературы филологического факультета БГУ. Кандидатская диссертация посвящена творчеству Антонио Табуки.

Valentina Kučerovskaja-Marceva è nata a Krasnojarsk nel 1982. Nel 2005 si è laureata in Lingua e letteratura italiana presso la Facoltà di Filologia dell'Università Statale Bielorussa. Dal 2006 è docente di Letterature straniere nel medesimo ateneo. La sua tesi di dottorato riguarda l'opera di Antonio Tabucchi.



Анна Лентовская родилась в 1982 г. в Ленинграде. Выпускница филологического факультета СПбГУ по специальности «Итальянский язык и литература», а также факультета иностранных языков Пизанского университета по специальности «Перевод художественной литературы и публицистики». В настоящее время – методический руководитель «Русского центра» при Пизанском университете. Докторант Высшей Нормальной Школы г. Пиза по специальности «Лингвистика». Преподаватель итальянского языка и русского языка как иностранного, автор ряда научных публикаций, переводчик.

Anna Lentovskaja è nata a Leningrado nel 1982. Si è laureata in Lingua e letteratura italiana presso l'Università Statale di San Pietroburgo, e in Traduzione letteraria e saggistica presso l'Università di Pisa. Attualmente è coordinatore didattico del Centro Studi “Il Mondo Russo”, una struttura dell'Ateneo pisano. Perfezionanda in Linguistica presso la Scuola Normale Superiore di Pisa, insegna italiano e russo per stranieri. È autrice di varie pubblicazioni scientifiche e traduttrice.



Зинаида Ложкина родилась в 1977 г. в Москве. Кандидат физико-математических наук. Окончила факультет Вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М. В. Ломоносова по специальности «Прикладная математика», там же окончила аспирантуру. Имеет несколько научных публикаций по теории графов. С 2000 г. занимается разработкой программного обеспечения для финансовых организаций. С 2008 г. изучает итальянский язык, в 2012 г. посещала переводческий семинар в школе «Москампус».

Zinaida Ložkina è nata a Mosca nel 1977. Si è laureata in Matematica applicata presso la Facoltà di Matematica computazionale e cibernetica dell'Università Statale di Mosca M.V. Lomonosov, dove ha conseguito il dottorato di ricerca in Scienze matematiche e fisiche. È autrice di pubblicazioni scientifiche relative alla teoria dei grafi. Dal 2000 si occupa dello sviluppo di software per istituzioni finanziarie. Studia la lingua italiana dal 2008; nel 2012 ha frequentato un seminario di traduzione presso la scuola di lingue "Moscampus".



Иван Семёнов родился в 1977 г. в Москве. Учился в СПТУ №88, получил диплом реставратора памятников деревянного зодчества. В 2008 г. окончил Литературный институт имени А. М. Горького, отделение художественного перевода. В 2006 г. стажировался в Университете для иностранцев, г. Сиена. С 2007 г. работает в издательстве «Эксмо» внештатным редактором и рецензентом. С 2009 г. сотрудничает с издательством «Эгмонт» как переводчик с итальянского (детские журналы и комиксы). С августа 2010 по март 2011 гг. работал переводчиком с итальянского в журнале «Sportweek» (Москва).

Ivan Semënov è nato a Mosca nel 1977. Ha studiato all'Istituto Professionale n. 88, dove ha conseguito il diploma di Restauratore di monumenti architettonici in legno. Nel 2008 si è laureato in Traduzione letteraria all'Istituto A.M. Gor'kij. Nel 2006 ha svolto uno stage presso l'Università per Stranieri di Siena. Dal 2007 lavora come editor e recensore freelance per la casa editrice Eksmo. Dal 2009 collabora con la casa editrice Egmont come traduttore dall'italiano (riviste e fumetti per bambini). Dall'agosto del 2010 al marzo del 2011 ha lavorato come traduttore dall'italiano per la rivista "Sportweek" di Mosca.

МОЛОДЫЕ РОССИЙСКИЕ ПИСАТЕЛИ
GIOVANI NARRATORI RUSSI

Диана Богуславская	Diana Boguslavskaja
Илья Луданов	Il'ja Ludanov
Дмитрий Романов	Dmitrij Romanov
Елена Тарханова	Elena Tarchanova
Дмитрий Филиппов	Dmitrij Filippov

Диана Богуславская

Перевод Амедео Пальяроли

Diana Boguslavskaja

Traduzione in italiano di Amedeo Pagliaroli



СТАРУХИ

В это ноябрьское утро Рахель Наумовна после завтрака как обычно села за свое старое фортепиано. На улице моросило, но в комнате было тепло, даже жарко от огромной чугунной батареи под окном. Окно запотело, и сквозь него были видны только расплывшиеся пятна витрин и подтекшие круги фонарей на той стороне улицы. Рахель Наумовна подумала, что сегодня лучше отменить прогулку. В такую погоду приятней остаться дома, сесть возле окна, накинув на плечи шаль, и что-нибудь читать, не выключая желтого электрического света в комнате. А пройдет еще неделя, ветер сдует листья с деревьев, подморозит лужи, нанесет снегу, и начнется зима, ее семьдесят четвертая зима. Пальцы Рахель Наумовны, не потерявшие быстроты и четкости, опустились на клавиши, и сорвалось, и бросилось о беленую стену полное предчувствий стаккато Шуберта.

За стеной в соседней комнате у окна сидела Баба Маша. Она тоже тревожилась скорой зимой. Сквозь оттертое рукавом от мутного пара стекло ей была видна размытая улица. Сырая мостовая, акварельные стены домов и серые тени, скользившие вдоль этих стен. Тени были убогими, бесприютными, и Баба Маша, вздохнув над ними раздругой, окончательно расстроилась и заплакала.

Рахель Наумовне – семьдесят четыре, Бабе Маше – семьдесят два. Когда-то в молодости, въезжая в эту квартиру, Баба Маша заставила своими сундуками узкий коммунальный коридор, а Рахель Наумовна опаздывала на занятия.

Рахель Наумовна, сердито поглядев на допотопные сундуки, перегородившие ей дорогу, сделала вывод «Деревенщина!». А Баба Маша, ничуть не смутившись, с интересом наблюдала, как Рахель Наумовна оцарапала ногу о кованый край, стараясь половчее пробраться к входной двери, и как она платком аккуратно вытирала кровь, боясь задеть прорисованную стрелку. Для себя тогда Баба Маша решила «Интеллигенция!». Так они и зажили.

VECCHIE

Quella mattina di novembre Rachel' Naumovna, dopo colazione, si sedette come al solito al suo vecchio pianoforte. Fuori piovigginava, ma dentro faceva caldo, quasi troppo per via dell'enorme termosifone in ghisa sotto la finestra. Il vetro era appannato, e da lì si vedevano soltanto le macchie opache delle vetrine e le luci tonde gocciolanti dei lampioni sull'altro lato della strada. Rachel' Naumovna pensò che quel giorno era meglio rimandare la passeggiata. Con un tempo così è bello restare a casa, sedersi accanto alla finestra, uno scialle gettato sulle spalle, e leggere qualcosa, senza spegnere nella stanza la gialla luce elettrica. E sarebbe trascorsa così un'altra settimana, il vento avrebbe soffiato via le foglie dagli alberi, gelato i prati, accumulato neve, e sarebbe cominciato l'inverno, il suo settantaquattresimo inverno. Le dita di Rachel' Naumovna, che non avevano perso velocità e precisione, si posarono sui tasti, e partì, scagliandosi contro la parete imbiancata, uno staccato di Schubert pieno di presentimenti.

Dall'altra parte della parete, nella stanza accanto, vicino alla finestra sedeva Nonna Maša. Anche lei era preoccupata dall'inverno in arrivo. Attraverso il vetro, ripulito con la manica da un velo di vapore, riusciva a vedere la strada sfocata. Il selciato bagnato, i muri in tinte acquarello delle case e le ombre grigie che scorrevano lungo quei muri. Le ombre erano misere, randage, e Nonna Maša, dopo un paio di sospiri verso di loro, si rattristò del tutto e cominciò a piangere.

Rachel' Naumovna ha settantaquattro anni, Nonna Maša settantadue. Una volta, da giovane, nel periodo in cui si stava stabilendo in quell'appartamento, Nonna Maša aveva ingombrato con i suoi bauli lo stretto corridoio della casa in coabitazione, mentre Rachel' Naumovna era in ritardo per la lezione.

Rachel' Naumovna, con lo sguardo severo verso quei bauli antidiluviani che le sbarravano la strada, giunse a una conclusione: "Gente di campagna!". Nonna Maša, per niente turbata, osservava con interesse Rachel' Naumovna graffiarsi la gamba contro uno spigolo di ferro, mentre cercava di farsi strada con destrezza verso la porta d'ingresso, e asciugarsi con cura il sangue col fazzoletto, temen-

Рахель Наумовна закончила фразу, опустила руки на клавиши и прислушалась. За стеной скрипнул старый венский стул, Баба Маша зашмыгала и выцветшим платком промокнула слезы. Рахель Наумовна перелистала ноты и нашла шубертовский лендлер, малоизвестный, но, как ей казалось, легкий и живой.

После обеда соседки обычно шли на прогулку. Они, не сговариваясь, одновременно выходили из дверей, спускались молча по лестнице и на улице расходились каждая в свою сторону. Рахель Наумовна шла в Летний сад через ворота на набережной, а Баба Маша в Летний сад со стороны пруда. Рахель Наумовна шла, спрятав руки за спину, как привыкла ходить на уроках, однажды поймав себя на том, что пальцы ее беспокойно шевелятся, повторяя ноту за нотой игру воспитанника. Баба Маша шла медленно, степенно, напоказ. Фигура у нее была крупная, а черные брови в разлет – южнорусские, и только вот выцвела та особенная хитринка в глазах, из-за которой все техники трамвайного депо, где она работала, набивались после смены ей в провожатые и из-за которой так не с одним она и не пошла. Обычно они проходили парк насквозь, каждая со своей стороны, а встретившись на главной аллее, не замечали друг друга.

Если было прохладно, также не сговариваясь, соседки оставались дома. В Летнем саду гнулись от ветра высокие верхушки деревьев, рябь катилась по зеркальной глади пруда. А с другой стороны Моховой в желтых чуть запотевших от тепла окнах можно было увидеть два профиля. В одном окне резкий профиль Рахель Наумовны, уткнувшейся носом в пасьянс Брамса, а в соседнем окошке мягкий, чуть расплывшийся от слез, профиль Бабы Маши.

Раз Баба Маша завела себе кота и, бывало, полеживала с котом на диване, поглаживая пахнущую молоком круглую морду, или лениво дергала за бантик, привязанный к кровати, на что кот лениво выпускал коготки и переворачивался на спину. Но кошачий век недолог – помер кот. И Баба Маша живности больше не заводила.

Рахель Наумовна к коту и при жизни относилась с предубеждением и даже раз сделала замечание Бабе Маше, что шерсть на кухонном столе нашла. Все, что не касалось музыки, Рахель Наумовну слегка раздражало. И когда, случалось, к ней наведывались

do di rovinare la linea disegnata.¹ Da parte sua, allora, Nonna Maša optò per un: “Intellettuale!”. E così cominciò la loro vita insieme.

Rachel' Naumovna finì la frase, poggiò le mani sui tasti e cercò di orecchiare. Nell'altra stanza scricchiolò una vecchia sedia viennese, Nonna Maša prese a correre avanti e indietro, e con un fazzoletto scolorito si asciugò le lacrime. Rachel' Naumovna sfogliò lo spartito e trovò un Ländler di Schubert, poco conosciuto ma, le pareva, agile e vivace.

Dopo pranzo le vicine andavano di solito a fare una passeggiata. Le due, senza mettersi d'accordo, uscivano dalla porta contemporaneamente, scendevano in silenzio le scale e, una volta fuori, si dividevano ognuna nella propria direzione. Rachel' Naumovna camminava verso il Giardino d'Estate passando per le porte trionfali sul lungofiume, Nonna Maša verso il Giardino d'Estate passando dalla parte dello stagno. Rachel' Naumovna camminava, le mani nascoste dietro la schiena, come era abituata a fare a lezione, e si era sorpresa una volta a muovere le dita irrequieta, ripetendo nota dopo nota l'esecuzione dell'allievo. Nonna Maša camminava lenta, grave, in bella vista. La sua figura era imponente, le sopracciglia nere arcuate erano quelle di una donna del sud, e le era appena sfiorita quella particolare punta di furbizia negli occhi per la quale tutti i tecnici del deposito tranviario dove lavorava si ammassavano dopo il turno per accompagnarla, e per la quale lei non era mai andata con nessuno di loro. Di solito le due attraversavano tutto il parco, ognuna dal proprio lato, e rincontratesi sul viale principale non si notavano nemmeno.

Se faceva fresco, sempre senza mettersi d'accordo, le vicine restavano a casa. Nel Giardino d'Estate le alte cime degli alberi erano curvate dal vento, un'increspatura gelata scivolava lungo la superficie a specchio dello stagno. E dall'altra parte della Mochovaja, alle finestre gialle leggermente appannate dal calore, si riuscivano a vedere due profili. A una finestra il profilo marcato di Rachel' Naumovna, con il naso ficcato in una sonata di Brahms, e alla finestra vicina il profilo dolce, appena offuscato dalle lacrime di Nonna Maša.

¹ In passato, per ovviare alla mancanza di calze, troppo costose, le signore disegnavano una linea lungo tutta la gamba per riprodurne l'effetto. (N.d.T.)

бывшие ученики, она усаживала их за стол, поила чаем, но сама торопилась скорее достать затертый альбом с пьесами в четыре руки. Разговоры о житье-бытье, здоровье-нездоровье, по ее мнению, были глупы, потому что ответ предполагали один – «постариковски!», а как же иначе?

После полдника старухи дремали. Коммуналка была большая, на восемь комнат, но с утра все жильцы расходились на работу, а возвращались не раньше семи вечера, так что днем здесь было и тихо, и спокойно.

Бабе Маше снился всегда один и тот же сон. Ей снилось, как она стоит у ворот своего депо, молоденькая, свеженькая, самая высокая среди девчонок. Подходят поочередно парни, мужа, забирают своих красавиц с работы. А она все стоит, ждет. И появляется Он. «Чего только не приснится!» – думала она про себя, проснувшись, припомнив, что в этот раз Он был похож на знаменитого киноактера. И еще долго потом тлела в ее глазах та особенная хитринка.

Рахель Наумовна снов с самого детства не видела. Ей, бывало, вовсе не спалось, и она просто лежала в тишине, беспокойно перебирая пальцами по старому пледу, вспоминая какую-то пьесу. А ровно через час бодро вставала и, сделав глоток воды, снова садилась за инструмент.

Сегодня Рахель Наумовна вспомнила Чайковского. За стеной, уже проснувшись, лежала Баба Маша и улыбалась то ли своему сну, то ли первым звукам Немецкой песенки. Но вдруг что-то произошло, Баба Маша не поняла что, но явственно это почувствовала, хотя пальцы Рахель Наумовны заученно пробежали до конца такта и только тут остановились.

Рахель Наумовна начала заново, но нет, ля-бемоль исчез. Она на всякий случай еще раз нажала клавишу. Деревянная деталь мягко опустилась, не издав даже стука. Рахель Наумовна недовольно фыркнула, выругалась на идише и отошла от инструмента.

Баба Маша полежала еще немного, но за стенкой было тихо.

– Сломалась ее пианина, – прошептала Баба Маша.

Обычно Рахель Наумовна играла до семи, заглушая возвращавшихся с работы квар-

Una volta Nonna Maša si era presa un gatto, e capitava che se ne stesse sdraiata sul divano con lui, accarezzandogli il muso tondo che sapeva di latte, oppure che lo tirasse svogliata per un nastrino attaccato al letto, al che il gatto sfoderava le unghie svogliato e si girava sulla schiena. Ma la vita dei gatti è breve: morì. E Nonna Maša non prese più animali.

Rachel' Naumovna trattava il gatto con sospetto, anche quando era ancora vivo, e una volta fece persino notare a Nonna Maša che aveva trovato dei peli sul tavolo della cucina. Tutto ciò che non riguardava la musica infastidiva leggermente Rachel' Naumovna. E quando capitava che andassero a trovarla vecchi allievi, li faceva accomodare a tavola, offriva loro del tè, ma si affrettava più che altro a tirare fuori un album consumato di pezzi a quattro mani. Le chiacchiere su come va la vita, mi fa male questo, mi fa male quello, per lei erano stupide, perché la risposta che prevedevano era una soltanto: “da vecchia!”, e come sennò?

Dopo la merenda le vecchie si appisolavano. L'appartamento in coabitazione era grande, di otto stanze, ma al mattino gli inquilini sparivano tutti a lavoro, e rientravano non prima delle sette di sera, così che di giorno c'era silenzio e pace.

Nonna Maša faceva sempre lo stesso identico sogno. Sognava di trovarsi all'entrata del suo deposito, giovanissima, freschissima, la più alta tra le ragazze. Si avvicinano uno dopo l'altro fidanzati, mariti, venuti a prendere le loro belle fuori dal lavoro. Lei, invece, continua a starsene lì, ad aspettare. E compare Lui. “Che razza di sogni!”, pensava tra sé una volta sveglia, ricordandosi che stavolta Lui somigliava a un famoso attore di cinema. E poi ancora a lungo bruciava nei suoi occhi quella puntina di furbizia.

Rachel' Naumovna non sognava ormai da quando era bambina. Le capitava di non riuscire a chiudere occhio, così restava a letto in silenzio, alternando le dita sul vecchio plaid ripassando un qualche pezzo. E dopo un'ora esatta si alzava energica e, bevuto un sorso d'acqua, si sedeva di nuovo allo strumento.

Quel giorno Rachel' Naumovna ripassava Čajkovskij. Dall'altra parte, già sveglia, Nonna Maša era a letto e sorrideva, non si sa se per il sogno fatto o per le prime note della *Canzone tedesca*. Ma all'improvviso successe qualcosa, Nonna Maša non capì cosa, ma lo avvertì distintamente, nonostante le dita di Rachel' Naumovna avessero corso meccanicamente fino a fine battuta, fermandosi solo allora.

тирантов. Но сегодня пианино молчало, и все звуки казались неприлично громкими, резкими. От бессилия Рахель Наумовна крепко сжала пальцы. Она села возле окна и зачем-то представила себе, как в один из таких ненастных ноябрьских дней она умрет. Как гроб ее, суется, сопроводит муниципальный чиновник, и один веночек, консерваторский, кинут на мокрую землю уставшие могильщики.

В коридоре хлопали двери, в кухне свистел забытый на плите чайник. Но за тонкой стенкой Баба Маша не могла различить ни звука.

– Ну я-то ладно, как была душой деревенской, так и помру, – говорила сама себе Баба Маша. – А она-то? Ходили к ней, а она все своей пианиной бредила, да это даже обезьяне понятно, что им другого надо было. Музыка, музыка, а сейчас что? Сломалась пианина! Тоска такая, хоть помирай.

Покусав язык, она встала и прошлепала в коридор, к дверям соседки, проверить, не померла ли та с расстройством.

Рахель Наумовна услышала, как Баба Маша скребется за дверь, встала со стула, и нарочно громко стукнула им об пол. Баба Маша вздрогнула, и зашлепала обратно, крестясь: – Ишь, ты! Живая, и то ладно!

Рахель Наумовна так и просидела до глубокой ночи на стуле, крепко сцепив пальцы, стараясь не обращать внимания на всплывавшие в памяти реквиемы. Баба Маша как обычно смотрела свой сон.

Утром, как только квартира опустела, Баба Маша заняла на кухне наблюдательную позицию. Чтобы не выказать интереса, она принялась чистить картошку, но ее внимание было сосредоточено на глухом голосе мастера, доносившемся из комнаты соседки. Мастер все бубнил, бубнил и, казалось, был непреклонен. И вот прозвучал знакомый легкий пассаж. «Слава Богу!» подумала Баба Маша, перекрестилась мокрыми пальцами, только с кухни не ушла. Она дождалась, когда проводив гостя до дверей, Рахель Наумовна пошла обратно в комнату и, стараясь придать голосу строгость, окликнула ее: – Кто это к вам?

Рахель Наумовна, не оборачиваясь, ответила:

Rachel' Naumovna riprese da capo, ma niente, il la bemolle era scomparso. Schiacciò ancora una volta il tasto, per ogni evenienza. Il pezzo di legno scese dolcemente, senza nemmeno fare rumore. Rachel' Naumovna sbuffò scontenta, impreccò qualcosa in yiddish e si allontanò dallo strumento. Nonna Maša restò ancora un po' a letto, ma dall'altra parte c'era silenzio.

“S'è rotto il piano” bisbigliò Nonna Maša.

Di solito Rachel' Naumovna suonava fino alle sette, coprendo il rumore degli inquilini che rientravano dal lavoro. Ma quel giorno il pianoforte taceva, e tutti i suoni sembravano indecentemente forti, acuti. Rachel' Naumovna strinse forte i pugni per il senso di impotenza. Si sedette accanto alla finestra e, chissà per quale motivo, immaginò di morire in una di quelle piovose giornate di novembre. Immaginò un funzionario del Comune accompagnare affaccendato la sua bara, e becchini stanchi lanciare sulla terra umida una corona di fiori, dono del Conservatorio.

Nel corridoio sbattevano le porte, in cucina fischiava il bollitore del tè lasciato sul fuoco. Ma al di là di quella sottile parete Nonna Maša non riusciva a distinguere neppure un suono.

“Io, si sa, da povera contadina ho vissuto e da povera contadina morirò” diceva tra sé Nonna Maša. Ma lei? La cercavano, e invece no!, per lei esisteva sempre e solo il suo pianoforte; ma persino un bambino avrebbe capito che loro avevano bisogno d'altro. Musica, musica... e adesso? S'è rotto il piano! Che disperazione mortale!

Si morse la lingua, si alzò e ciabattò in corridoio, verso la porta della vicina, per controllare che non fosse morta dal dispiacere.

Rachel' Naumovna sentì Nonna Maša grattare dietro la porta, si alzò dalla sedia e di proposito la batté forte sul pavimento. Nonna Maša sobbalzò e se ne ciabattò indietro, segnandosi:

“Guarda un po'! È viva, a posto!”.

Rachel' Naumovna restò dunque seduta sulla sedia fino a notte fonda, le dita saldamente intrecciate, cercando di non prestare attenzione ai requiem che si affacciavano alla memoria. Nonna Maša, come sempre, faceva il suo solito sogno.

Al mattino, non appena l'appartamento si svuotò, Nonna Maša si sistemò a osservare in cucina. Per non manifestare curiosità si mise a pelare le patate, ma la sua attenzione era catturata dalla voce sorda del tecnico che proveniva dalla camera della vicina. Il tecnico continuava a borbottare e sem-

– Мастер был, фортепиано чинили, – и пошла себе дальше.

Баба Маша торопясь поставила сковороду на огонь. Она вернулась в свою комнату, уселась на старый венский стул возле окна и замерла, ожидая, когда по ту сторону стены Рахель Наумовна устроится за инструментом.

Рахель Наумовна осторожно провела рукой по клавишам своего старого фортепиано. Конечно, с годами в его голосе появились сырые нотки, вон за окном второй день льет. Но весной, когда выглянет солнышко, можно будет попросить Машу и вместе открыть эти огромные окна, чтобы проветрить как следует и высушить фортепиано. Для хорошего инструмента и сто лет – не срок. Пальцы Рахель Наумовна побежали по клавишам вытверженную, но с годами звучащую только свежее и непринужденней, сонату Моцарта. А Баба Маша оттерла рукавом стекло и, забыв о картошке, тихонько заплакала.

brava essere irremovibile. Ed ecco che risuonò un noto e agile passaggio. “Grazie a Dio!”, pensò Nonna Maša, e si segnò con le dita bagnate, senza però lasciare la cucina. Aspettò fino a che Rachel’ Naumovna, accompagnato l’ospite alla porta, non tornò nella camera e, cercando di assumere un tono di voce severo, la interpellò:

“Chi era?”.

Rachel’ Naumovna, senza voltarsi, rispose:

“Era il tecnico, hanno aggiustato il pianoforte” e proseguì dritta.

Nonna Maša mise di corsa una padella sul fuoco. Tornò in camera sua, si mise comoda sulla vecchia sedia viennese accanto alla finestra e rimase immobile, aspettando che dall’altra parte Rachel’ Naumovna si sedesse allo strumento.

Rachel’ Naumovna passò cauta la mano sui tasti del suo vecchio pianoforte. Certo, con gli anni nella sua voce erano comparsi toni umidicci, fuori dalla finestra pioveva già da due giorni. Ma in primavera, quando il sole avrebbe fatto capolino, si sarebbe potuto chiedere a Maša di aprirle insieme, quelle enormi finestre, per ventilare come si deve il pianoforte e farlo asciugare. Per un buono strumento cent’anni non sono niente. Sotto le dita di Rachel’ Naumovna prese a correre sui tasti una sonata di Mozart conosciuta a menadito, ma che con gli anni riechegiava sempre più fresca e naturale. Nonna Maša deterse il vetro con la manica e, dimenticate le patate, piano piano cominciò a piangere.

Отзыв о рассказе

Коммунальная квартира в Петербурге: восемь комнат – возможно по числу жильцов, если предположить, что все они такие же одинокие люди, как героини рассказа, семидесятичетырехлетняя Рахель Наумовна и семидесятидвухлетняя Баба Маша. Соседи двух пенсионерок утром уходят на работу, а Рахель Наумовна, в прошлом преподавательница музыки, позавтракав, садится за фортепиано. Предубеждение против «интеллигенции» не мешает «деревенщине» Бабе Маше отзываться на звучание волшебных нот за стеной трогательными слезами, о чем Рахель Наумовна не подозревает, уверенная, что у нее с Бабой Машей нет ничего общего. Отношения между соседками меняются, когда пианино Рахель Наумовны замолкает, требуя помощи настройщика, и вновь оживает на следующий день после его прихода. Неважно, кто из них сделал первый шаг, но Рахель Наумовна, проведя руками по клавишам отремонтированного инструмента, с облегчением подумала, что «весной, когда выглянет солнышко, можно будет попросить Машу и вместе открыть эти огромные окна, чтобы проветрить, как следует, и высушить фортепиано».

В трогательной истории из жизни петербургской коммуналки нет – говоря языком музыки – ни одного фальшивого аккорда, ни одной фальшивой ноты: автору рассказа удалось скупыми красками одинаково правдоподобно нарисовать портреты героинь и фон, на котором они предстают перед читателем, – чуть прорисованные комнаты Рахель Наумовны и Бабы Маши и зимний законный мир. Важную роль в добром рассказе Дианы Богуславской играет и звуковой фон – музыка Шуберта, Брамса, Чайковского.

Евгений Солонович

Nota critica

Pietroburgo, appartamento in comune: otto stanze – probabilmente tante quante sono gli inquilini, se si assume che tutti loro siano persone sole come le protagoniste del racconto, la settantaquattrenne Rachel' Naumovna e la settantaduenne Nonna Maša. I vicini delle due pensionate al mattino escono per andare al lavoro, e Rachel' Naumovna, in passato insegnante di musica, dopo colazione si siede al pianoforte. Il pregiudizio contro l'“intellettuale” non impedisce alla “villana” Nonna Maša di reagire con commoventi lacrime al suono delle magiche note nell'altra stanza, cosa che Rachel' Naumovna non sospetta neppure, convinta di non avere nulla in comune con Nonna Maša. I rapporti tra le vicine cambiano quando il pianoforte di Rachel' Naumovna si azzittisce, richiedendo l'intervento dell'accordatore, per rianimarsi il giorno seguente dopo il suo arrivo. Non importa chi sia stata tra loro a fare il primo passo, ma Rachel' Naumovna, scorrendo le mani sui tasti dello strumento riparato, pensò con sollievo che “in primavera, quando il sole avrebbe fatto capolino, si sarebbe potuto chiedere a Maša di aprirle insieme, quelle enormi finestre, per ventilare come si deve il pianoforte e farlo asciugare”.

In questa commovente storia fatta della vita in un appartamento in comune di Pietroburgo non c'è, usando la lingua della musica, neppure un accordo stonato, una nota stonata: l'attrice del racconto è riuscita a dipingere con tinte fioche, ma allo stesso tempo con verosimiglianza, il ritratto delle protagoniste e dello sfondo sul quale esse si mostrano al lettore – le stanze appena tratteggiate di Rachel' Naumovna e Nonna Maša e il mondo dell'inverno fuori dalla finestra. Un ruolo importante nel dolce racconto di Diana Boguslavskaja è giocato anche dal tessuto sonoro: la musica di Schubert, Brahms, Čajkovskij.

Evgenij Solonovič

Биография

Диана Богуславская. Родилась в 1984 г. в Челябинске. Сейчас живет в Петербурге. Окончила Литературный институт имени А.М. Горького, семинар прозы А. Н. Варламова. Публиковалась в альманахе прозы «Где дом мой...».

Biografia

Diana Boguslavskaja. Nata nel 1984 a Čeljabinsk, ora vive a Pietroburgo. Laureata presso l'Istituto Letterario A.M. Gor'kij, ha frequentato il seminario di A.N. Varlamov. Una sua opera è stata pubblicata nell'almanacco di prosa "Dov'è la mia casa...".

Илья Луданов

Перевод Элизабетты Спедиаччи

Il'ja Ludanov

Traduzione in italiano di Elisabetta Spediacci



ОТ ЧЕРНОЗЕМА ДО ПОТОЛКА

После завтрака мать подала сверток – замотанный в белую ткань, размером с книгу.

– Отвези ей, – сказала, взглянув пристально, – пусть повесит, где хочет. Я после свадьбы купила. По благу, через крестного.

Федя масляными от блинов руками сверток не взял, показал на стул положить, к рюкзаку, который укладывал к отъезду.

– Мам, блины – невозможные! Люблю – жуть. Жаль – с собой нельзя, – он посмотрел в ответ на нее, захотел и не смог вспомнить, когда приезжал последний раз.

– Ты ешь, ешь, – сказала тихо.

Главными чертами ее лица с некоторых пор стала грусть, будто застыла однажды и так и осталась. Теперь мамино лицо не было веселым, даже когда она смеялась.

– Что вот поделатъ, раз так? – беспокойно проговорила она из накопленного высказать ему. – Нас с отцом всю жизнь обижают, а мы не обижаемся. И ты не обижайся. И сам не обижай.

Утро стояло тихое, мёрзкое, низкое солнце боролось с тягучей дымкой над холодным полем. Вялому после сна и завтрака Феде сначала было тяжело и лениво. Потом руки вспомнили хватку, притерлись к черенку, земля будто помягчела и лучше рассыпалась, когда он проходил ряд за рядом большого родительского огорода, отрезанного от соседей и улицы забором и стеной дома.

После учебы Федя уехал на заработки, посмотреть северные города. Вернулся следующей весной, до тоски уставший ото льда, ветра, безлюдья, серого моря и голых скал на берегу. Никогда к тому интереса не проявляя и в школьном детстве улепетывая с огородов на раз-два, вдруг полюбил работать с землей: лопатой, граблями, полюбил наблюдать, как сажается в густой чернозем зерно и как из него получается сытный, упругий плод. Феде нравилось в усталом перерыве,

DALLA TERRA AL SOFFITTO

Dopo colazione sua madre gli diede un pacchetto: avvolto in un panno bianco, grande come un libro.

“Portagliela,” disse con sguardo intenso “la appenda dove vuole. L’ho comprata dopo le nozze. Tramite conoscenze del mio padrino”.

Fedja, che non voleva prendere il pacchetto con le mani unte per via delle frittelle, le fece segno di metterlo sulla sedia, accanto allo zaino già mezzo pronto per la partenza.

“Mamma, queste frittelle sono incredibili! Mi piacciono da matti. Peccato che non me le posso portare via” disse guardandola a sua volta mentre cercava invano di ricordarsi quando era stato lì l’ultima volta.

“Mangia, mangia” rispose lei piano.

Da qualche tempo il tratto principale del suo viso era la tristezza: sembrava che un giorno si fosse congelata e fosse poi rimasta così. Adesso il volto di sua madre non era allegro nemmeno quando rideva.

“Che ci si può fare, quand’è così?” disse lei inquieta di tutte le cose accumulate da dirgli. “È una vita che offendono me e tuo padre, e noi non ci offendiamo. Non ti offendere neanche tu. E non offendere nemmeno”.

La mattina era silenziosa, scialba, e il sole basso lottava con una foschia viscosa sul campo freddo. Fedja, fiacco dopo il sonno e la colazione, si mise in moto a fatica e controvoglia. Poi le sue mani si ricordarono la stretta, presero confidenza con il manico, e la terra iniziò come ad ammorbidirsi e rompersi meglio via via che passava da un solco all’altro nel grande orto dei genitori, separato dai vicini e dalla strada da uno steccato e da un muro della casa.

Finiti gli studi, Fedja se n’era andato con un lavoro stagionale a vedere le città del nord. Era tornato la primavera dopo, stanco da morire del ghiaccio, del vento, della desolazione, del mare grigio e degli scogli nudi sulla riva. Benché non avesse mai mostrato interesse al riguardo e benché ai tempi della scuola se la filasse dai campi alla prima occasione, d’un tratto si era innamorato del lavoro con

усевшись на скамью, смотреть, как висит холодное желто-красное солнце над дымчатым горизонтом. Теперь, давно живя в городе, он всегда приезжал помочь с копкой – боялся бросить участок.

Когда прошел грядку, пришел отец и встал рядом. Копали молча. Федя старался брать шире, быстрее проходить ряд, украдкой поглядывая на отца и порываясь что-то сказать, но не знал что, если даже матери не смог ничего ответить, злясь на себя, на родителей и на глупость случая.

Отец копал резко и сильно, будто намеренно, чтобы не хватило сил на расстройство и нервы, копал с пустым выражением лица, будто не понимал, где находится и что делает. Неизвестная Федору непомерная тяжесть и суровость, как грусть на лице матери, отпечаталась и застыла и на лице отца, что бы он ни делал и чего ни говорил. Даже когда Федор сообщал радости – рассказывал, как им с Машей живется и как они удивительно счастливы. Оттого и Федору было тяжело и трудно говорить с отцом, с матерью и долго быть с ними.

Тяжелая суровость и грусть обосновалась в доме родителей с полгода, как заказали памятник деду на могилу. И с тех пор только усиливались.

Федор с трудом выдерживал, жалел родителей, ругал за терпение, но не мог примерить их суровость на себя, в момент, когда вдруг научился радоваться и слышать пугливое замирание сердца. Он даже реже стал бывать у родителей, а если навещался, старался быстрее вернуться в город, со страшной мыслью, что торопится уехать от родителей.

Вчера на кладбище, после недомолвок и открытой полугодовой неприязни, серый деревянный крест заменили на гранитный камень. При живых отцовых двух сестрах и дедовых братьях в день поминок никто не приехал, свою долю расходов не вернул, а значит и годовые поминки им теперь проводить втроем.

Вечером, за водкой, отец смотрел в сторону, на пол и молчал так выразительно, будто говорил Федору, что настал конец всей семейной дружбе, что он бы поверить не смел, как легко порвутся, связанные крепкими канатами, чувства единой

la terra: munito di vanga e rastrello, osservava ammirato il seme che si assestava nella terra nera e compatta per poi dare vita a un frutto sodo e nutriente. Nelle pause stanche, seduto su una panca, adorava guardare il freddo sole rosso giallastro sospeso sull'orizzonte offuscato. Ora che viveva in città da tempo veniva sempre ad aiutare con la vangatura: non se la sentiva di abbandonare l'appezzamento. Quando finì il riquadro, arrivò suo padre e gli si mise a fianco. Vangarono in silenzio. Fedja cercava di fare un pezzo più largo e andare più in fretta, sbirciando di nascosto il padre e tentando di dire qualcosa, ma non sapeva cosa visto che non era riuscito a rispondere nemmeno alla madre, e arrabbiandosi con se stesso, con i suoi e con la stupidità di quella situazione.

Suo padre vangava con gesti decisi e vigorosi, quasi fosse intenzionato a far sì che non gli restassero forze per essere agitato o nervoso, vangava con in faccia un'espressione vacua, quasi non capisse dov'era e cosa faceva. Così come la tristezza sul volto della madre, un misto di gravità e austerità immense, fino ad allora sconosciuto a Fëdor, si era impresso e congelato sul viso del padre e lo accompagnava qualunque cosa facesse o dicesse. Persino quando Fëdor gli dava buone notizie, raccontando della sua vita con Maša e della loro incredibile felicità. Anche per questo Fëdor trovava pesante e difficile parlare e rimanere a lungo con i suoi.

Quel clima greve di austerità e tristezza si era installato a casa dei genitori sei mesi prima, quando avevano ordinato una lapide per la tomba del nonno. E da quel momento non aveva fatto che peggiorare. Fëdor faticava a reggere quella situazione, si dispiaceva per i suoi, li rimproverava per l'eccessiva pazienza, ma non riusciva a farsi carico di quell'austerità proprio quando d'un tratto aveva imparato a essere felice e ad ascoltare i timidi palpiti del suo cuore. Cominciò a diradare le visite e anche in quei casi cercava di tornare in città il prima possibile, con l'orribile consapevolezza che aveva fretta di lasciarli.

Il giorno prima, al cimitero, dopo sei mesi di non detti e di aperta ostilità, avevano sostituito la croce di legno grigiastro con una lapide di granito. Delle due sorelle del padre e dei fratelli del nonno, benché tutti ancora vivi, nessuno era andato al pranzo di commemorazione il giorno delle esequie né aveva rimborsato la propria parte di spese; avrebbero quindi dovuto celebrare da soli anche l'anniversario della morte.

La sera, davanti a una bottiglia di vodka, suo padre guardava di lato, per terra, e taceva in modo

семьи, разойдутся в одном корне сплетенные их судьбы. Что может – так просто, как из ничего, – возникнуть грубость, и, как окажется, – им друг до друга совсем нет дела.

Теперь отец копал с тем натянутым молчанием, когда одни сжатые скулы и спрятанные под бровями глаза выдают злое непонимание. Отчего родные так чужды, как люди могут так не любить людей и так дешево продавать их? И сколько глупости в это безумии, в то время как нет войны, голода, нет страха предательства и ничья воля, никакая ложь не мешает жить в добре?

В это дивное утро Федор думал о встрече с Машей, и так хотелось радоваться новому дню, что бросил бы сейчас лопату, побежал, просто побежал со всего духа! Оттого стало горько и хотелось уехать, но он думал, что бросает родителей с этим непониманием и бежит от их общей грусти. Но бежать хотелось открыто, и он готов был честно сказать, что не хочет, не желает остаться среди этого мрака и хочет туда, где хорошо. Было жаль родительскую стойкость и свою слабость и хотелось забыть все распри и только смотреть на небо, потому что небо всегда красиво.

– Мне пора, – сказал Федор через час копки.

– Тебе там мать собрала с собой, – отец убрал лопату и посмотрел на вскопанный участок. – Картошки еще возьми. – Федор оглянулся на него и увидел, что за огород отец сегодня больше не возьмется – до смерти наскучило делать все одному. Теперь Федя и сам спешил уехать. Родители показались людьми, с которыми ему нельзя, будто вредно говорить, которых нужно или отстранять или жалеть, но только со стороны. Это было страшно, трудно было представить, кем нужно быть, чтобы так думать, но так и было. Двор, молодой сад, дом стояли теперь одинокими и брошенными, будто в них совсем нельзя вернуть смелость жизни, дышать глубоко и радость служения хозяину.

Мать за обедом не знала, что сказать, только молча смотрела на него. Федор злился на нее и на себя, весь сжался и пытался не смотреть на мать. Боялся раз-

così eloquente da dare l'impressione che dicesse che l'unità familiare era giunta al capolinea e che non avrebbe mai osato credere che bastasse così poco perché i loro vincoli familiari, così saldamente legati, si strappassero e i loro destini intrecciati nella stessa radice prendessero strade diverse. Né che con tanta facilità, come dal nulla, potesse spuntare una tale inciviltà e potessero ritrovarsi a infischiarne completamente l'uno dell'altro.

In quel momento suo padre vangava, con il silenzio teso di quando gli zigomi contratti e gli occhi nascosti sotto le sopracciglia rivelano una rabbiosa incapacità di comprendere. Cosa rendeva i consanguinei così estranei, come si faceva a essere così privi di amore verso gli altri e così pronti a venderli per due soldi? E quanta stupidità c'era in quella follia, in un momento in cui non c'era guerra, non c'era fame, non c'era rischio di tradimento e nessuna autorità, nessuna menzogna impediva di vivere nel bene?

In quella mattina meravigliosa Fëdor ripensava al suo incontro con Maša e aveva talmente tanta voglia di gioire del nuovo giorno che avrebbe gettato la vanga all'istante e si sarebbe messo a correre, correre e basta, con tutta l'anima! Afflitto da quel pensiero, provò l'impulso di andarsene, ma sapeva che avrebbe lasciato i genitori con quell'incapacità di comprendere e sarebbe scappato dalla loro comune tristezza. Ma di correre voglia aveva, scopertamente, ed era pronto a dire in tutta onestà che non voleva, non desiderava, rimanere in quell'atmosfera cupa e che preferiva tornare dove stava bene. Si dispiaceva sia dell'irremovibilità dei genitori che della propria debolezza e gli sarebbe piaciuto scordarsi tutti i dissidi e non fare altro che guardare il cielo, perché il cielo era sempre bello.

“Devo andare” disse Fëdor dopo aver lavorato per un'ora.

“La mamma ti ha preparato le cose da portar via”. Suo padre mise via la vanga e contemplò l'appezzamento vangato. “Prenditi anche delle patate”. Fëdor si girò a guardarlo e capì che per quel giorno il padre non avrebbe più messo mano all'orto: ormai lo annoiava a morte fare tutto da solo. Ora anche Fedja aveva fretta di andarsene. I suoi genitori si erano rivelati persone con cui non poteva stare, quasi che parlarci gli nuocesse, persone da allontanare o per cui dispiacersi, ma solo tenendosene alla larga. Era terribile ed era dura immaginare che razza di persona bisognava essere per pensare una cosa del genere, ma così era. Il cortile, il giardino nuovo, la casa adesso se ne

дражаться сильнее, не понимал, что случилось и неужели причина – в разрыве с родней, отчего родители чувствовали себя даже не одинокими, а покинутыми. Будто от их дома отвернулось общество, служение которому так осмысленно и важно. Больше всего тяжести на душу накладывало, что отвергнуты старики не за подельничество общей лжи и обману, но за противодействие ему, за честность, за выбор остаться в скромных должностях, бедным кошельком и свободной совестью. Теперь за свою благородность они уже не страдали – твердели, иссыхая, как глина на ветру, и ожесточались, как впервой избитый ребенок, не желая понимать умение не сожалеть даже в личных случаях и навык с легкостью оболгать. Федор делом помочь не мог, боялся все испортить поспешным советом и только обидеть пустыми утешениями. С матерью прощался скупно, не вспомнил ее предложения приехать к ним с Машей через две недели. В последний момент они приобнялись. Федор с невиданной уверенностью посмотрел вдруг на мать, как бы подтверждая свою взрослость, развернулся и уехал.

На пустынной площади автовокзала с двумя старыми автобусами и одним новеньким микроавтобусам ветер гонял обрывки газет и пластиковые бутылки. Между отъезжающими с просьбой денег бродил старый пропойца с потерянными глазами и заплывшими в синяках глазами. Одни отворачивались, другие махали на него руками, третьи, как Федор, смотрели прямо и твердо, с некоторой злобой, пока он сам не отходил, равнодушный к отказам, ко всем людям и к своим попыткам собрать на питание. Пропойца будто дошел до стадии, когда нет дела, подадут или нет, удастся ли купить водки, но в силу губительной привычки он весь день искал выпивки, и даже если не подавали или он оказывался бит, к вечеру неизменно бывал пьян, легко уходя в бесчувствие.

Перед самым отправлением автобуса перед Федором развернулась драка. Он не думал, что умеют драться голуби. Это были не городские сизари, а лесные горлицы – с утонченными фигурками, совершенно белые, в точности как живописцы выводят святого духа в библейских сценах. И вот эти два нежных голубя яростно

stavano lì soli e negletti, come se fosse del tutto impossibile restituire loro il coraggio di vivere, la capacità di respirare profondamente e la gioia di servire il padrone.

A pranzo sua madre non sapeva cosa dire e si limitava a osservarlo in silenzio. Fëdor si arrabbiò con lei e con se stesso, si irrigidì tutto e si sforzò di non guardarla. Aveva paura di finire con l'irritarsi ancora di più, non capiva cosa fosse successo e se davvero il motivo stesse nella rottura con i parenti, per via della quale magari i genitori si sentivano non tanto soli quanto proprio abbandonati. Come se la società, che ritenevano giusto e importante servire, avesse voltato le spalle a casa loro. Ad amareggiare di più era il fatto che i vecchi fossero rifiutati non perché avevano preso parte alla menzogna collettiva e all'inganno, ma perché vi si erano opposti, avevano dimostrato onestà e avevano scelto di conservare un impiego modesto, con il portafoglio vuoto e la coscienza pulita. Ormai non soffrivano neanche più per la loro nobiltà: si indurivano, prosciugandosi come argilla all'aria, e si incrudelivano, come un bambino picchiato per la prima volta, rifiutandosi di comprendere la capacità di rimanere insensibili anche alle questioni personali e l'abitudine a calunniare a cuor leggero.

Fëdor non poteva dare un aiuto concreto e temeva di rovinare tutto con un consiglio affrettato oppure di offendere con vuote frasi di conforto. Salutò la madre con poche parole e non accennò al suo invito a tornare insieme a Maša due settimane dopo. All'ultimo momento si scambiarono un abbraccio. Poi, di colpo, Fëdor guardò la madre con una sicurezza mai mostrata prima, quasi ad affermare la propria maturità, si girò e se ne andò.

Nel piazzale della stazione dei pullman, deserto a parte due vecchie corriere e un minibus nuovo di zecca, il vento inseguiva pezzi di giornale e bottiglie di plastica. Tra le persone in partenza vagava elemosinando un vecchio ubriaco con l'espressione smarrita e gli occhi cerchiati. Alcuni si voltavano dall'altra parte, altri lo scacciavano a gesti, altri ancora, come Fëdor, lo guardavano duramente dritto in faccia, con una certa cattiveria, finché quello non si allontanava da solo, indifferente ai no, a tutti i presenti e ai suoi stessi sforzi di racimolare il necessario per bere qualcosa. Sembrava arrivato allo stadio in cui non gli importava se gli davano o meno i soldi, se gli riusciva o meno di comprare la vodka, ma per un'abitudine letale andava tutto il giorno in cerca di alcol e, anche se non riceveva un quattrino o veniva picchiato, a sera finiva sempre così ubriaco da perdere facilmente coscienza.

дрались, готовые насмерть перебить один другого. Не клевались, как сизари, но совсем как петухи, стоя один против другого, кидались вперед и вверх, схватываясь в воздухе клювами, ударяя коготками и крыльями. Когда схватка случилась два или три раза, замороженный сначала, Федор чего-то испугался, быстро отвернулся и прошел на место, желая скорее уехать.

Минут пятнадцать автобус петлял городскими улицами, уклоняясь от рытвин и мигая знакомым водителям, пока резво не выскочил на трассу. Все вокруг сразу стало незнакомым. Федя искоса оглядел ближних соседей, угадал всех, успокоился, не найдя пьяных и скрытных, устался в окно и стал думать о Маше: как она без него эти два дня, и как они встретятся.

Автобус шел на пределе скорости. Федя только успевал отмечать редкие, засеревшие в руках осени деревни, белые на пасмурном небе колокольни церквей, сшитые в единую ленту скорой ездой голые тополиные посадки, пятнистый, темных красок, придорожный бурьян. За окном, набирая силу позднего октябрьского ветра, уже второй раз за день пошел мелкий, не сразу заметный, дождик. На землю спустился холод, обещавший первые заморозки, от которых люди, еще помнящие тепло, промерзали до костей, и первый раз думалось, что вот в бесчисленный раз придет и окутает все зима, а погреться на солнце удастся лишь через полгода. Федору же было тепло и уютно в автобусе, тело обмякло в кресле, он лениво шевелил сонными глазами.

Сплошная изоляция окон и дверей отделяла летевшую мимо осеннюю природу, унылый пейзаж бедной жизни вокруг. Все, в нескольких метрах за окном, стало невероятно далеко, а сам Федор казался совсем не причастным ко всему, что там, под дождем, где промозглая осень и ветер. В томной полудреме Федор представил, как дети будущего, отстраненные наукой от природы, движутся по своим точно рассчитанным траекториям, реализуя аналитически доказанные, максимально рациональные планы в календарном безвременье комфортной атмосферы. Там не будет мокрого воздуха осени, морозной зимней свежести, волн лет-

Poco prima della partenza del pullman, davanti a Fëdor scoppiò una rissa. Non pensava che i piccioni sapessero fare a botte. Non erano uccelli di città, bensì colombe selvatiche: con il corpo affusolato, completamente bianche, uguali identiche a quelle usate dai pittori per rappresentare lo Spirito Santo nelle scene bibliche. Ed ecco che quei due teneri animali si azzuffavano furiosi, pronti a uccidersi a vicenda. Non si beccavano come piccioni, ma in tutto e per tutto come galli: stando l'uno di fronte all'altro, si slanciavano in avanti e verso l'alto, lottando in aria con il becco, assestando colpi con le zampe e le ali. Dopo un paio di scontri, Fëdor, inizialmente ammaliato, fu spaventato da qualcosa e, giratosi in tutta fretta, andò a sedersi al suo posto sperando di poter partire alla svelta.

Per una quindicina di minuti il pullman zigzagò per le strade della città, schivando buche e lampeggiando alle facce note al volante, dopo di che imboccò spedito l'autostrada. D'improvviso il mondo intorno divenne poco familiare. Fedja esaminò di traverso i vicini, li inquadrò e, tranquillizzato dall'assenza di gente ubriaca o strana, fissò lo sguardo fuori dal finestrino mettendosi a pensare a Maša: a come era stata quei due giorni senza di lui e a come lo avrebbe accolto.

Il pullman viaggiava sfiorando il limite di velocità. Fedja faceva a malapena in tempo a scorgere i rari villaggi ingrigitisi nelle mani dell'autunno, i campanili delle chiese bianchi contro il cielo nuvoloso, i filari di pioppi nudi cuciti dall'andatura rapida in un unico nastro, le erbacce scure e chiazze al margine della strada. Fuori, prendendo forza dal tardo vento di ottobre, già per la seconda volta quel giorno iniziò a cadere una pioggerella minuta, non immediatamente visibile. Il freddo era sceso sulla terra dopo aver promesso i primi rigori, per via dei quali la gente, ancora memore del caldo, rabbriviva fin nelle ossa e si ritrovava a pensare che l'inverno stava per tornare e avvolgere tutto per l'ennesima volta e che sarebbe stato necessario aspettare sei mesi per potersi di nuovo scaldare al sole. Fëdor, invece, sul pullman stava comodo e al caldo e, con il corpo abbandonato sul sedile, muoveva pigramente gli occhi assonnati.

L'isolamento perfetto di porte e finestrini tagliava fuori la natura autunnale in corsa a lato e il mesto paesaggio della povera vita circostante. Tutto ciò che stava pochi metri oltre il vetro era divenuto incredibilmente lontano e lo stesso Fëdor non sembrava per nulla toccato da quanto si trovava fuori, sotto la pioggia, dov'erano l'autunno bagnaticcio e il vento. Nel suo languido dormiveglia

него тепла; люди там будут дышать по графику, умеренно жить, расчетливо умирать. Он с равнодушием смотрел на это будущее. Было лишь странно представить плоскость: по одной стороне он сегодня утром, бодрый, горящий работой, копал землю, рыл упругий и сырой чернозем, шелушил ладонью стволы яблонь, будто ребенок, закидывал голову к небу; и – здесь, в кресле, лениво наблюдающий за такими чуждыми полями, деревьями и речкой за окном.

В небольшом областном городке следовало пересесть на электричку и занести передачу двоюродному брату отца, Алексею Николаевичу – мама очень просила. Их семью Федя недолюбливал. Семейство Алексея Николаевича, ничего из себя не представляя, в любом деле вело себя как пьяный генерал на собственных именинах, не замечая свое пренебрежение к окружению и напоказ испытывая сладкое удовольствие, когда легко удавалось заправлять остальными – напором и редким видом окультуренной наглости в глаза. Федор только вздохнул, когда с порога супруга Алексея Николаевича, вдвое его моложе, с огромными глазами и плоским, будто натянутым, лицом стала расписывать недавно сделанный ремонт, хвалиться, как старший сын, ее пасынок, обзавелся машиной – таких моделей в городе всего шесть! – и сколько это стоило им хлопот, и как они терпели этих несносных ремонтников и как опасно оставлять машину на улице ночью.

– Вон, через двор, позавчера стекло–то выбили и этот... как его... регистратор видео... вырвали. Одни проводки торчат. А наши–то еще и целую музыкальную систему установили, колонка с табуретку, когда играет – бухает так, будто изнутри кто–то ломится... – говорила она, размешивая чай и подавая печенье.

Сам Алексей Николаевич сидел напротив, большой, плотный, с легкой, снисходительной улыбкой на крупном уверенном лице. Его довольный вид подчеркивал, что все сложилось, не зря суетился, бегал, все эти бессчетные ларьки обслуживал. Федя против ларьков ничего не имел. Он просто сидел за чаем и думал. Эта образцовая семья успешного проживания и сама не знала своей пустоты. И Алексей Николаевич, наверное, точно с такой же легкой улыбкой, как сей–

si immaginò i bambini del futuro che, strappati alla natura dalla scienza, si muovevano lungo traiettorie calcolate con precisione realizzando piani di estrema razionalità analiticamente dimostrati nell'atmosfera confortevole di un calendario fatto di mezze stagioni. Non ci sarebbero state né l'aria umida dell'autunno, né la freschezza gelida dell'inverno, né le ondate di calore dell'estate; la gente avrebbe respirato in base a un grafico, sarebbe vissuta con moderazione e morta con oculatezza. Fëdor osservava quel futuro con indifferenza. A sembrargli strano era solo il declino: da un lato quella mattina, energico, ardente di lavoro, vangava l'orto, rivoltava la soda e umida terra nera, scortecciava come un bambino i tronchi dei meli con il palmo e alzava la testa al cielo; dall'altro se ne stava lì su quel sedile a osservare oziosamente dal finestrino campi, alberi e ruscelli estranei. Nel piccolo capoluogo della provincia, bisognava prendere il treno locale e portare un pacco al cugino di suo padre, Aleksej Nikolaevič: sua madre si era tanto raccomandata. Fedja non nutriva grande simpatia per quella famiglia. Aleksej Nikolaevič e congiunti, infatti, pur non mostrando doti particolari, si comportavano in qualunque faccenda come un generale tronfio e ubriaco, senza rendersi conto delle proprie mancanze verso il mondo circostante né darsi pena di nascondere il dolce piacere che provavano quando, con le pressioni e un raro tipo di insolenza civilizzata negli occhi, riuscivano a dettar legge senza troppo sforzo. Fëdor si limitò a sospirare quando già dalla porta la moglie di Aleksej Nikolaevič, giovanissima rispetto a quest'ultimo, con gli occhi enormi e un viso così liscio da sembrare tirato, prese a raccontare per filo e per segno della ristrutturazione fatta poco tempo prima, a vantarsi che il più grande, suo figliastro, si era comprato la macchina – di quel modello in città ce n'erano solo sei! – e a ripetere quante rogne la cosa era costata a tutti quanti, e quanta pazienza c'era voluta con quegli insopportabili muratori, e quanto era rischioso lasciare la macchina fuori di notte.

“Là in fondo, un cortile più in giù, l'altro ieri hanno rotto un vetro e hanno tirato via... com'è che si chiama... la telecamerina. Ci sono rimasti solo i fili. E noialtri ci abbiamo montato pure un impianto stereo completo che da una cassa minuscola quando è accesa senti un bum bum bum come se dentro ci fosse uno che cerca di uscire...” diceva la donna mescolando il tè e poggiando biscotti. Aleksej Nikolaevič, intanto, le sedeva di fronte, grande, robusto, con un leggero sorriso condiscendente sul grosso volto sicuro. La sua aria soddisfatta sottolineava che le cose gli erano andate bene,

час, десять лет назад сидел перед его отцом, смущенным смертью деда, говорил очень уверенно и твердо, что заберет дедов дом и заведет на вырученные деньги торговлю. Так он открыл первый пивной ларек. Сейчас у него было три ларька с выпивкой и табаком и три летних кафе по городу, с танцами и концертами, в которых Алексей Николаевич отвечал за поставки товара.

– Как твои-то? – спрашивал Алексей Николаевич с серьезным видом.

От чего-то хотелось быстро встать и уйти без слов.

– В порядке. Огород вскопали. Картошка в этом году удалась, – отвечал Федор и думал, что с таким внутренним превосходством в голосе Алексей Николаевич всегда теперь будет говорить с ним и тому же, наверное, учит своих ребят.

– Огород – какой ужас! – охнула жена Алексея Николаевича. – Не могу представить! Только подумай, Алеша – мы, все, с ведрами, в сапогах, по грязи... – ее передернуло.

Алексей Николаевич не удержался, прыснул, замахал на нее руками. Жена ответила грудным смехом, провела рукой по его, похожей на футбольный мяч, голове. Федор с нескрываемым любопытством посмотрел на нее, будто увидел диковинное растение, но устыдился такого взгляда, нагнулся к чаю и сказал, что ему пора.

– Маме за огурчики домашние, грибки, за капустку, спасибо! Приветы от нас всем передавай, – тараторила хозяйка на выходе, с каким-то нетерпением подавала Феде куртку, смешливо хлопая глазами и улыбаясь во весь рот.

На шумном вокзале, насыщенном духом горелого масла от чебуречных и мазута, на Федю напала унылость от чего-то обидного, несправедливого. Он спрятал одинокие глаза под капюшон и тут увидел, что никуда от этой – недавно, в автобусе – такой далекой и постылой осени не ушел, он в самом сердце ее, если у нее есть сердце, и весь ее самый резкий ветер бьет ему в лицо, и сверху льет самый холодный дождь из всех, что есть у неба.

В электричке он чувствовал себя странно чужим для всех, с дикостью во взгляде цепко и быстро озирался на закуполенные лица, которые сами себе казались

che non si era dato da fare inutilmente, che correva di qua e di là, che riforniva un sacco di chioschi. Fedja sui chioschi non aveva niente da ridire. Si limitava a starsene immobile con il tè davanti e pensare. Ecco una famiglia modello con un'esistenza ben riuscita che non si rendeva conto della propria vuotaggine. E Aleksej Nikolaevič, probabilmente con lo stesso identico leggero sorriso che aveva in quel momento, dieci anni prima era stato seduto davanti al padre scosso dalla morte del nonno e gli aveva detto con grande sicurezza e determinazione che si sarebbe preso la casa del defunto e che con i soldi ricavati avrebbe avviato un'attività. E così aveva aperto il suo primo spaccio di birre. Ormai in città aveva tre chioschi con rivendita di alcolici e tabacco e tre caffè all'aperto dove si poteva ballare e ascoltare musica dal vivo, del cui rifornimento era responsabile in prima persona.

“E i tuoi come stanno?” gli chiese Aleksej Nikolaevič con un'espressione seria.

A quella domanda Fëdor fu preso dalla voglia di balzare in piedi e andarsene senza una parola.

“Bene. Hanno appena vangato l'orto. È stata un'ottima annata per le patate” rispose Fëdor e pensò che era con quella superiorità insita nella voce che Aleksej Nikolaevič d'ora in avanti gli avrebbe parlato e per di più, magari, dava lezioni ai figli.

“L'orto: che orrore!” gemette la moglie di Aleksej Nikolaevič. “Non riesco neanche a pensarci! Ti immagini, Aleša: noi, tutti quanti, con i secchi, con gli stivali, in mezzo al fango...” disse con una smorfia.

Aleksej Nikolaevič non si trattenne, cominciò a sghignazzare e la zittì a cenni. Lei rispose con una risata di cuore e gli passò una mano sulla testa, simile a un pallone da calcio. Fëdor la guardò con manifesta curiosità, quasi avesse di fronte una pianta esotica, ma poi, vergognatosi di quell'occhiata, chinò il capo sul tè e disse che doveva andare.

“Ringrazia tua mamma per i cetriolini fatti in casa, per i funghi, per il cavolo! Saluta tutti da parte nostra” cicalò la padrona di casa davanti all'uscio e, sbattendo gli occhi allegra e scoprendo i denti in un sorriso raggianti, porse a Fedja il giaccone con una certa impazienza.

Nel chiasso della stazione, satura dell'odore di olio bruciato proveniente dalle friggitorie e del puzzo di combustibile scadente, Fedja fu colto da un senso di tristezza per un che di ingiusto e offensivo. Nascose gli occhi sotto il cappuccio e in quell'istante capì che non era affatto sfuggito

тоже дикими, ничего кроме грязной подлости, что Федя ждал от них, не ожидая и от него. Федя напрягся всем телом, боясь уступить хоть пол шажка вокруг. Он чувствовал, как нечто склизкое и животное присосалось к нему изнутри и сосет, и сосет силы сердца и души. Тогда он смотрел на осень за окном, которая снова казалась далекой. Хотелось выйти в тамбур, спрыгнуть ото всех из вагона, с болью обдирая руки и спину скатиться по насыпи, продираться через колючий бурьян, растирая багровую грязь по щекам, и на круглой, еще зеленой поляне упасть лицом в землю и дышать мокрой травой, липкой паутиной, болотной сыростью, и всеми внутренностями почуять, как пахнет природа.

Когда кругом стало больше зданий, длинных крыш складов, заводских цехов и машин, Федя немного пожалел, что город так быстро начался, и стал отвлекать себя мыслями о Маше и о работе. Не зря согласился жить в месте, где человеку его склада о собственной жизни задумываться просто опасно.

На вокзале и на улице прохожие молчали о дурной погоде, пробках и политике; в метро попутчики молчали об электронных новинках, модных шоу по телевизору и богачах на дорогих джипах там, наверху; очередь в магазине, где Федя взял вина, сыра и хлеба – о ценах, выборах и семейных дрязгах.

После шумных толп, трасс, огней вывесок, рекламных плакатов в полнеба, нудных светофоров, суетных иномарках в тесноте дворов, Федор неожиданно сильно, с теплотой и зудом нетерпения обрадовался тихому огоньку в их окне за пеленой сетчатого дождя. Господи, сколько вложено в то, чтобы ты горел! – думал Федор, подходя к подъезду. Весь уклад жизни, терпение, все силы, укрощение огня внутри, одинокая его свобода – все Федор, с трудом и не сразу, положил у ее ног, чтобы случилось их хрупкое, неопытное счастье. Чтобы делать жизнь вместе, он позволил бетону, стеклу и асфальту окружить себя; по крохам собрал все свои слабые силы, все нищие средства, чтобы быть – как думал – ближе к правде, отдавать и получать заботу, чтобы перестать любить в пустоту. Он больше не мог любить этот город, этих людей просто так. Думал уехать, закрыться,

all'autunno odioso che poco prima, sul pullman, gli era parso tanto lontano: era proprio nel cuore della stagione, se un cuore quella stagione l'aveva, e si stava prendendo in faccia il vento più tagliente e addosso la più fredda di tutta la pioggia che c'era in cielo.

In treno si sentiva insolitamente estraneo a tutti e con sguardo selvatico gettava rapide occhiate penetranti agli individui imbacuccati intorno a lui, i quali si sentivano altrettanto selvatici e non si aspettavano da Fedja nient'altro che la sporca meschinità che lui si aspettava da loro. Fedja teneva tutto il corpo contratto per paura di cedere anche solo di mezzo centimetro. Aveva l'impressione che un qualcosa di viscido e animale gli si fosse attaccato dentro e gli stesse succhiando via ogni forza dal cuore e dall'anima. Intanto guardava l'autunno fuori dal finestrino e di nuovo gli sembrava lontano. Aveva voglia di uscire dallo scompartimento, saltare giù dal vagone allontanandosi da tutti, rotolare per il terrapieno spellandosi dolorosamente mani e schiena, aprirsi un varco tra le erbacce spinose imbrattandosi le guance di fango purpureo e infine cadere con la faccia nella terra in una radura tondeggiate ancora verde e ispirare l'erba bagnata, le ragnatele appiccicose, l'umidità palustre e sentire con tutte le viscere l'odore della natura.

Quando intorno a lui cominciò ad aumentare la quantità di edifici, magazzini dal tetto lungo, capannoni industriali e automobili, Fedja si dispiacque un po' che la città fosse apparsa così in fretta e iniziò a distrarsi pensando a Maša e al lavoro. C'era un motivo, infatti, se aveva acconsentito a vivere in un posto in cui per un uomo della sua indole riflettere sulla propria vita era evidentemente pericoloso.

Alla stazione e per strada i passanti tacevano riguardo al brutto tempo, agli ingorghi e alla politica; in metropolitana i passeggeri tacevano riguardo alle novità dell'elettronica, allo spettacolo televisivo del momento e ai ricchi che viaggiavano a bordo di costose jeep sopra le loro teste; la gente in fila al negozio dove Fedja prese del vino, del formaggio e del pane taceva riguardo ai prezzi, alle elezioni e alle beghe familiari.

Dopo le folle rumorose, le autostrade, le luci delle insegne, i manifesti pubblicitari di dimensioni enormi, i noiosi semafori, le pretenziose auto straniere pigiate nei cortili, Fëdor, con il calore e la smania dell'impazienza, gioì con un'intensità inaspettata della luce silenziosa alla finestra sua e di Maša oltre la cortina di pioggia finissima. Dio mio, quanto c'è voluto per farti stare lì acceso!, pensò

но что же будет? Что останется? – спрашивал Федя себя. Страшно было оставить после себя пустоту, черную и бездонную, где ни порока, ни святости. Когда, на краю, она подала ему руку, взяла его пальцы в свои, он увидел, что еще не выдохся, еще не старик, и – пусть все сначала, но все – иначе; будто на этаж выше перешел.

После темного контура ее фигуры у дверей, после ужина, сотканного из затаенных взглядов и легких разговоров о родителях, дороге и Алексее Николаевиче, после ее, натянутых нервами, рассказов о работе, они расслабленно лежали, обнявшись, держась за руки, и смотрели наверх.

Перед Федей стояла белая, как свежий снег, потолочная плита, верхняя грань его обставленного цементом и бетоном пространства, и выше этого не было ничего. Где-то были звезды и небо, и свежий воздух простора, но это будто у других, а у него ничего этого не было. Что-то важное хотелось сказать. Говорить долго и красиво. Она, ему казалось, ждала его слов. Он промолчал, оставляя вечер, как есть, без признаний. Ведь как грустно, если приходится повторять признания, это как напоминать о свежести чувств, думал Федя. Маша все поняла, прижалась к нему и закрыла глаза.

– Подожди, – поднялся Федя и зажег свечку.

– Как хорошо, что ты приехал, – выдохнула Маша и повернулась к нему, будто смотрела на него через закрытые веки.

– Главное, не зря, – он достал из рюкзака бумажный сверток. Маша поднялась, взглянула на Федю, и развернула бумагу. В руках у нее оказалась икона Богородицы с младенцем, размером с книгу. Маша посмотрела на Федю удивленно – никакой религиозности среди них не было, и ни о чем подобном они до сих пор не заговаривали.

– Нравится?

Маша кивнула и улыбнулась чуть.

– Выбирай место, утром повесим, – Федор поставил икону к свечке.

avvicinandosi all'ingresso. Tutto un modello di vita, la pazienza, tutte le energie, l'imbrigliamento del fuoco interiore, la libertà solitaria: con fatica, pezzo dopo pezzo, Fëdor aveva messo tutto ai piedi di Maša affinché la loro fragile e inesperta felicità avesse un'occasione. Per creare una vita insieme, aveva lasciato che il cemento, il vetro e l'asfalto lo circondassero; un briciolo alla volta aveva raccolto tutte le sue deboli forze, tutti i suoi miseri mezzi, per stare – come pensava – più vicino alla verità, per dare e ricevere cure, per smettere di amare a vuoto. Non era più in grado di amare quella città e quella gente così, semplicemente. Meditava di andarsene, di chiudersi, ma cosa sarebbe successo? Cosa sarebbe rimasto?, si chiedeva Fedja. Trovava terribile l'idea di lasciarsi dietro una voragine, nera e senza fondo, dove non ci fossero né vizi né virtù. Quando, sull'orlo, lei gli aveva teso la mano e gli aveva preso le dita nelle sue, lui aveva capito di non avere ancora concluso, di non essere ancora vecchio e di poter ricominciare tutto daccapo, purché diversamente, ed era come passato a un livello superiore.

Dopo la sagoma scura del corpo di Maša stagliata sulla porta, dopo la cena intessuta di sguardi nascosti, dopo i suoi discorsi leggeri riguardo ai genitori, al viaggio e ad Aleksej Nikolaevič e i racconti tesi di lei in merito al lavoro, stanchi e abbracciati a letto guardavano in alto tenendosi per mano. Davanti a Fedja c'erano le piastrelle del soffitto, bianche come neve fresca, il limite superiore del suo spazio allestito con sabbia e cemento, e oltre più nulla. Da qualche parte c'erano le stelle e il cielo, e l'aria fresca delle ampie distese, ma era come se quella fosse roba altrui, non sua. A Fedja sarebbe piaciuto dire qualcosa di importante. Parlare a lungo e con maestria. Lei, gli sembrava, aspettava le sue parole. Eppure rimase in silenzio, lasciando la serata com'era, senza dichiarazioni. Che tristezza se bisogna ripetere le dichiarazioni, è come ricordare la freschezza dei sentimenti, pensava. Maša capì tutto, si strinse a lui e chiuse gli occhi.

“Aspetta” disse Fedja tirandosi su e accendendo una candela.

“Meno male che sei tornato” sospirò Maša e si voltò come a guardarlo attraverso le palpebre abbassate.

“Soprattutto non sono tornato a mani vuote” ribatté lui tirando fuori dallo zaino il pacchetto. Maša si mise a sedere, diede un'occhiata a Fedja e lo scartò. Tra le sue mani apparve un'icona della Madonna con il bambino, grande come un libro. Maša guardò Fedja stupita: tra di loro non c'era

Потом он посмотрел на Машу и подумал, что никогда не видел такого красивого лица.

– Скоро ты заснешь, – негромко сказал Федя, – а я спать не стану, и буду смотреть, как свечка освещает твое лицо. Маша, засыпая, улыбнулась в ответ – то ли ему, то ли первой картине сна.

niente che riguardasse la religione ed era da tantissimo che non parlavano di cose del genere.

“Ti piace?”.

Maša annuì e sorrise appena.

“Scegli un posto, domattina la appendiamo” disse Fëdor mettendo l'icona vicino alla candela.

Poi guardò Maša e pensò che non aveva mai visto un volto così bello.

“Tra un attimo ti addormenterai” le sussurrò “e io rimarrò sveglio a guardare il tuo viso illuminato dalla fiamma”. Assopendosi, Maša rispose con un sorriso: a lui o alla prima immagine di un sogno.

Отзыв о рассказе

Время разбросало большую и дружную некогда семью. Иные весьма преуспели, открыв в небольшом городке несколько доходных пивных ларьков, другие, как родители героя, по-прежнему горбчатся на собственном клочке земли, гордо отвергая искушения воцарившегося повсеместно духа наживы. И никто уже не ездит в гости, не собирается, как когда-то, за большим столом. Родные люди разобщены, полны неприязни друг к другу.

Но не все так безнадежно. Икона, подаренная Федору матерью в его редкий короткий визит, кажется поначалу чужеродной в столичной квартире. Но исходящие от нее свет и добро уже навсегда вошли в жизнь молодой семьи...

Илья Луданов пишет о том, что хорошо знает. Родившийся в 1985 году в небольшом городке Тульской области, он начал публиковаться с девятнадцати лет, описывая будни российской «глубинки». Ему веришь, ведь он и сам оттуда.

В настоящее время учится в Литературном институте.

Нина Литвинец

Nota critica

Il tempo ha disperso una famiglia una volta numerosa e affiatata. Qualcuno ha fatto fortuna aprendo in una modesta cittadina diversi redditizi chioschi di birre, qualcun altro, come i genitori del protagonista, continua a sgobbare nel proprio fazzoletto di terra respingendo orgogliosamente le tentazioni del profumo di soldi facili diffusosi ovunque. E ormai si è persa l'abitudine di fare visita ai parenti e di riunirsi, come in passato, attorno al tavolo delle feste. I consanguinei sono diventati estranei pieni di astio reciproco.

Ma non tutto è perduto. L'icona che Fëdor riceve in dono dalla madre al termine di una delle sue rare e brevi visite sulle prime sembra fuori posto nell'appartamento metropolitano. Ma la luce e il bene che si irradiano da essa sono ormai entrati per sempre nella vita della giovane famiglia...

Il'ja Ludanov scrive di cose che conosce bene. Nato nel 1985 in una piccola città della provincia di Tula, ha iniziato a pubblicare a diciannove anni descrivendo le giornate della Russia più sperduta. Credergli è inevitabile: anche lui, infatti, viene da lì.

Attualmente frequenta l'Istituto Letterario A.M. Gor'kij.

Nina Litvinec

Биография

Илья Луданов. Родился в 1985 г. в городе Узловая Тульской области. Летом 2009 г. выпустил сборник «Ясный день». В 2010 г. поступил в Литературный институт имени А. М. Горького на семинар прозы. Лауреат конкурса «Золотое перо Руси» 2008 г. Финалист премии «Мой дебют» 2010 г., лауреат премии «Левша» за 2010 г., дипломант конкурса «Золотой Витязь». Печатался в региональных альманахах, сборниках премий, в журнале «Приокские зори», в интернет-журналах.

Biografia

Il'ja Ludanov è nato nel 1985 a Uzlovaja, nella provincia di Tula. Nell'estate del 2009 ha pubblicato la raccolta *Un giorno sereno*. Nel 2010 è stato ammesso ai seminari di prosa dell'Istituto Letterario A.M. Gor'kij. Nel 2008 è stato tra i vincitori del concorso "Zolotoe pero Rusi". Nel 2010 è arrivato tra i finalisti del premio "Moj debjut" e ha vinto il premio "Levša"; nel 2011 ha ottenuto un riconoscimento al concorso "Zolotoj Vitjaz". Ha pubblicato in miscellanee regionali, almanacchi di premi, sulla rivista "Priokskie zori" e alcune riviste *on line*.

Дмитрий Романов

Перевод Франческо Биго

Dmitrij Romanov

Traduzione in italiano di Francesco Bigo



СЛИВЫЧ

Сливыч жил один на окраине нашей деревни. Мохнатый темный ельник, овраги, железнодорожный переезд, далее поворот. И первое, что встретит вас, что поприветствует гостя от имени всех деревенских – обрамленный косым забором полуразвалившийся дом. Вокруг дома – коллапс гнилых пиломатериалов, всевозможных дверей, остовов диковинных конструкций, опилки, стекло, груды битого шифера, мха... Дом с заколоченными окнами и прогнувшейся крышей возвышается над морем хаоса пьяным штурманом, нахально вылезшим на разбитую палубу. А вокруг буря некошеной осоки, болотные хляби заросшего ручья, черные лапы кустарника, тропу к людям через который мог отыскать только сам хозяин.

Если бы вы увидели эти уголья, то непременно сделали бы вывод об их глухой заброшенности, резонно решив, что уже много-много лет никто там не обитает. И это я говорю о картине, которую вы смогли бы наблюдать еще при жизни таинственного хозяина. На самом деле мало что изменилось и после его смерти. Вокруг – да, вокруг некогда свободные поля рассекли заборами под потенциальные участки потенциальным дачникам, канавы засыпали гравием, сдавили и перекопали, воткнули столбы, спилили деревья, да сожгли старую вечернюю школу. А вот на дом Сливыча не посягнули. Ясень-великан, укрывающий вечной тенью этот уголок мистерий и мрака, тоже никто не тронул.

Я ни разу не видел деревенскую ребятню хотя бы рядом с обителью Сливыча – вездесущих шпионов и первопроходцев волновали более понятные места. Да и не знали, как переправиться через болото и кусты к импровизированной калитке. Роберт Васильевич Еропланов, старый любитель закинуть за воротник, единственный, ведающий секретом обители Сливыча, замерз прошлой зимой в ненаотопленной бане. И с тех пор аура Сливыча пропиталась замшелой тайной. Хотя это была даже и не тайна – тайна она на то и есть, чтобы завлекать пытливые умы, а в данном случае никому и дела не было.

SLIVYČ

Slivyč viveva da solo, nella periferia del nostro villaggio. Un folto e ombroso bosco di abeti, fossati, un passaggio a livello e infine una curva; la prima cosa che vi viene incontro, e che dà il benvenuto all'ospite a nome di tutti gli abitanti, è una casa distrutta per metà, circondata da uno steccato storto. Intorno alla casa ci sono cataste di legname marcio, porte di ogni genere, montagnole di singolari costruzioni, segatura, vetri, mucchi d'ardesia frantumata e di muschio...

Su questo mare di caos si erge la casa, con le finestre sprangate e il tetto piegato, simile a un ufficiale di rotta ubriaco che, sfacciato, esce a stento sul ponte di coperta. Tutt'intorno al turbinio di carice non falciata, paludose pozze nel ruscello, rami neri d'arbusti e un sentiero nel quale si potrebbe trovare soltanto il proprietario.

Se voi vedeste questi terreni, in base al loro inoltrato stato di abbandono trarreste immancabilmente la conclusione che, ragionevolmente, già da moltissimi anni siano stati abbandonati. Lo dico dell'immagine che avreste potuto osservare quando il loro misterioso proprietario era vivo; ma poco è cambiato anche dopo la sua morte.

Intorno sì, invece, tutto era cambiato: i campi una volta liberi erano stati divisi con steccati in potenziali lotti per probabili villeggianti, i fossati erano stati ricoperti con ghiaia, compressi e riscavati, avevano piantato piloni, tagliato alberi, e avevano bruciato la vecchia scuola serale.

Ma nessuno aveva attentato alla casa di Slivyč. Neppure il frassino gigantesco, che ripara con la sua eterna ombra questo misterioso e tenebroso angolino, era stato toccato.

Non ho mai visto ragazzi del villaggio neanche vicino all'abitazione di Slivyč: gli onnipresenti spioni ed esploratori si preoccupavano di luoghi più accessibili. E poi non sapevano come attraversare la palude e gli arbusti, verso quel cancello improvvisato.

Robert Vasil'evič Eroplanov, un vecchio ubriacone, l'unico a conoscere il segreto della dimora di Slivyč, era morto l'inverno scorso, assiderato in una *banja*¹ non riscaldata. E da quel momento l'au-

¹ La *banja* russa è un ambiente chiuso, simile a un bagno pubblico, adibito a sauna. (N.d.T.)

Сливыч был нелюдим. Была еще такая у него черта – тащить в свой муравейник одного муравья все, что плохо лежит. В детстве мы прекращали игры и молча провожали взглядом Сливыча, волокущего по нагретому асфальту, к примеру, ржавые хоккейные ворота или опоры столбов. Все это фрагментарное искусство быта сшивалось небрежными лоскутами прутьев и проволоки в его насекомом гнезде. Муравьи могут поднимать вес даже страшно представить насколько превышающий их собственный. Сливыч был нелюдим.

Никто не помнил, почему его прозвали Сливычем. Фамилия была другой, но вокруг его дома росли сливовые деревья. Целая роща. Еще, будто бы, он раньше жестоко пил и от того лицо его становилось синюшным. Первый вариант мне нравился больше. Баба Марья, напротив, говаривала, что деда его, приковылявшего с ребенком за руку из осажденного Смоленска, звали Слива. Мне представлялась спелая раздавленная слива, по которой аккуратной полосой курсируют муравьи. Все были правы.

Почему я вдруг вспомнил об этом человеке? Дело в том, что слово «одиночество» не ассоциируются у меня с чем-то страшно тяжелым, подавляющим или печальным, нет – оно скорее заменяет слово «покой» или «глубина», в контексте с «погружением в сущность». Быть оставленным – да, вот это тяжесть, вот это наказание людьми человека. Когда же сам выбираешь удел аскезы – тут совсем другой разговор. Не мешайте моему одиночеству, но не оставляйте меня одного.

Вот Сливыч ушел от людей сам. Его не оставляли. Даже если и было кому оставлять. А меня преследовал вопрос, было ли это бегством от людей или он оставил их, как птица оставляет пустое гнездо? К счастью, мир всегда дает ответ, если уметь смотреть ему в глаза. Пусть даже они на время становятся пьяными глазами краснолицего Еропланова, потомственного пьяницы до самой своей глубокой старости.

Я сидел на берегу деревенского пожарного пруда и ловил карасей. Карасей не было – попадались одни ротаны. На лугу метались козы, загоняемые на ночь в хлева, вдалеке шумел поезд. Встречать летнюю вечернюю зарю на косом берегу пруда, когда вода зыбко лиловая, небо багряное и в воздухе запах скошенной травы... что может

ra di Slivyč si era impregnata di un muscoso mistero. Sebbene questo non fosse neppure un mistero: un mistero è fatto per attirare le menti indagatrici, ma in questo caso nessuno se ne interessava. Slivyč era un asociale. Un'altra caratteristica che possedeva era quella di trascinare nel suo formicaio di una sola formica tutto ciò che non stava più in piedi. Nell'infanzia interrompevamo i nostri giochi in silenzio e lo accompagnavamo con lo sguardo mentre, ad esempio, trascinava sull'asfalto arroventato porte da hockey arrugginite oppure sostegni di piloni. Tutta questa frammentaria arte di vita era tenuta insieme, nel suo nido d'insetto, da sciatti brandelli di verghe e di fil di ferro. Le formiche possono caricarsi un peso in eccesso persino terribile a credersi, se rapportato al loro. Slivyč era un asociale.

Nessuno si ricorda perché lo avessero soprannominato così²; il cognome era un altro, ma intorno alla sua casa era cresciuto un intero pruneto. O ancora, così sembra, egli un tempo beveva con avidità e il suo viso diventava cianotico. Preferisco la prima versione; Nonna Mar'ja invece raccontava che il nonno di lui, arrivato zoppicante con il bambino per mano da Smolensk sotto assedio, veniva chiamato Sliva. Mi immaginavo una prugna matura schiacciata sulla quale in fila fanno la spola, ordinate, le formiche. Avevano tutti ragione.

Ma perché all'improvviso mi sono ricordato di quest'uomo?

Il fatto è che la parola "solitudine" non la associo a qualcosa di terribilmente pesante, opprimente o triste; no, semplicemente sostituisce la parola "quiete" o "profondità", nel contesto di un'immersione nell'essenza della natura.

Essere abbandonato, ecco, questo sì che è grave, è un castigo inflitto dalle persone. Ma quando scegli da solo il destino dell'asceta, allora è tutto un altro discorso. Non ostacolate la mia solitudine, ma non lasciatemi solo.

Ecco, Slivyč abbandonò la gente da sé, non fu relegato. Anche se c'era stato stato qualcuno a cui lasciarlo.

Mi perseguitava una domanda: era tutto ciò una fuga dalla gente oppure era lui che li lasciava come

² Il soprannome Slivyč è legato semanticamente al sostantivo russo *sliva*, che significa *prugna*. (N.d.T.)

испортить эту наголо явленную таковость? Ничего. Что-то может только стать частью. Вот и Еропланов, приземлившийся рядом, вплыл в эту вечернюю таковость на волнах эфемерного перегара. Я не обернулся в его сторону, так как сразу понял, кто пришел. Он характерно кряхтел и чмокал втянутыми в беззубый рот губами.

– Клюет, Митька?

– Клюет вроде.

Мы молчали. Он достал пузырь, но пить не стал. Предложил мне, тринадцатилетнему. Я деловито отказался, сославшись на позднее время. Он вздохнул и убрал бутылку обратно в рукав.

– А то помянули бы.

Я молчал и смотрел на поплавок, медленно оттягиваемый мальками в сторону.

– Сливыч помер.

– Вроде на той неделе еще, – говорю.

– Э, – раздосадовано протянул он, – мелочь – что с вас взять?

Мне стало обидно.

– А то, – пробурчал я, – на той неделе нашли... по запаху.

– Нашли, и что? – даже как-то удивленно спросил Еропланов.

– Ни с кем не общался потому что, вот и даже не знают когда «того».

Я чувствовал на себе его взгляд.

– Много ты понимаешь, – он сделал паузу, чтобы достать пузырь, откупорить и приложиться, – много понимаете. Сливыч поумнее ваших всех. Он чего, думаете, не воронил с людьми-то? Пустой разговор потому что, суета, да толчея. Это вон мы вино пьем, задницы горбатим... Жена, сосед, дай-возьми, не суйся, не сиди в потолок не смотри. А у него философия была. Ты знаешь, что такое философия?

– Знаю, – сказал я.

– Знаешь... А он не знал. Он весь в ней был, что твой бобик в шерсти. Потому что знал, гад такой, что живем раз, и что жизнь пускать в навоз, как мы, – вот грех настоящий. Вот ты видишь, когда твоя сикилявка клюет, – он указал на воду, – а когда – нет?

fa un uccello con il nido vuoto? Per fortuna il mondo dà sempre una risposta, se si sa guardarlo negli occhi. Fossero anche quelli temporaneamente ubriachi del rubicondo Eroplanov, beone da più generazioni fino alla sua più avanzata vecchiaia.

Sedevo sulla riva del bacino antincendio del villaggio, pescando carassi, ma abboccavano soltanto ghiozzi. Sul prato si agitavano delle caprette, sospinte nella stalla per la notte; in lontananza rumoreggiava un treno. Incontrare il tramonto estivo sulla ripida sponda dello stagno, quando l'acqua fluttua color lilla, e il cielo è purpureo, e nell'aria c'è odore di erba falciata: cosa può corrompere una tale epifania? Nulla. Qualcosa può soltanto diventarne parte. E anche Eroplanov, comparsomi a fianco, s'immerse in tale epifania serale con gli effimeri effluvi tipici dell'avvinazzato. Non mi voltai, perché avevo capito chi era giunto. Ansimava in modo tipico, e senza denti faceva schioccare le labbra infossate.

“Abboccano, Mit'ka?”.

“Più o meno”.

Restammo in silenzio. Prese una fiaschetta, ma non si mise a bere; la offrì a me, tredicenne. Rifiutai con aria seria, adducendo l'ora tarda. Lui tirò un sospiro e se la riprese.

“L'avremmo commemorato”.

Me ne stavo in silenzio a guardare il galleggiante, tirato lentamente dagli avannotti.

“Slivyč è andato all'altro mondo”.

“Già la settimana scorsa, direi” faccio io.

“Eh,” cantilenò stizzito “stupidaggini. Cosa vi dobbiamo?”

Mi offesi.

“Così...” dissi brontolando. “Lo hanno scoperto l'altra settimana dall'odore”.

“Lo hanno trovato. E con ciò?” chiese Eroplanov in modo persino sorpreso.

“Non parlava con nessuno, non si sa neppure quando sia successo”.

Sentivo il suo sguardo su di me.

“Tu capisci tante cose”. Fece una pausa per prendere la fiaschetta, la stappò e si mise a bere. “Voi capite tante cose. Ma Slivyč era un po' più intelligente di tutti voi. Ma cosa pensate, che non andasse d'accordo con la gente? Chiacchiere vuote, e tutto perché c'è fretta e ressa! Eccoci qui, beviamo

– Вижу, – ответил я.

– О, – он поднял палец и красные глаза его выплыли из щелок, – а если б елозил туда-сюда, кувыркался по берегу, разве б заметил? Когда все вокруг скачет-то, куда тут смотреть?

Я молчал, но уже не от того, что не знал, как ему ответить, а потому что проблеск понимания коснулся моего ума. Что-то туманное, массивное и «взрослое» топталось рядом с воротами детского дворца. Игрушечного дворца. Оно начинало вплетать странные узоры доселе невиданных расцветок в хрупкие стены его. И я, как зачарованный, смотрел на поплавок, практически незаметно дергающийся от прикосновения бархатных губ мальков.

Мы сидели молча с минуту. Потом вдруг красное перышко поплавка погрузилось в недвижную воду и тут же снова оказалось на поверхности. Я подался к удилищу, почти не дыша. Поплавок скакнул еще раз, но я знал, что пока не время. Тут старик Еропланов трухляво рассмеялся:

– Во-во! А он как незванный, а ты его хвать, как будто ждал всю жизнь.

Я шикнул, испугавшись, что громкий смех спугнет рыбу. Так и вышло. Поклевки прекратились. На крючке одиноко извивался червь.

– Но видел же! – не унимался старик, – Сливыч тоже видел. Один раз кирнули мы с ним, а он поутру как завоюет с похмелуги. Все, говорит, не могу видеть рожу твою. И ушел. И с тех пор как перевернуло что в голове евоной. Да там еще что сиротой вырос, конечно. Хотя раньше-то и по бабам даже лазил.

Он снова выпил, почти не морщась.

– Ну вот, человек он такой, понимаешь? Не-е, – словно с чем-то соглашаясь, протянул он, – конечно, кому что на роду написано. Иной так жить не сможет. Сопьется или опять в люди пойдет. Сложно. И бабы нет. Она хоть и гнилая, но баба – накормит, может быть, пальто там, телогрейку заштопает...ну не все такие... моя срамная. Да я и сам срамной, чего уж. А Сливыч дело знал. С утра, бывало, выйдет поглядеть, что творится у людей, что лежит не так, что без дела пропадает. И ведь сколько ж мы не замечаем

vino, ci facciamo un culo così: e la moglie, e il vicino, e dare e prendere, e non immischiarsi, e non sedersi, e non guardare il soffitto... Lui invece aveva una filosofia. Sai cos'è la filosofia?”.

“Sì” risposi.

“Sì... e lui invece no. Ne era completamente immerso, come il tuo rocchettino nella lana. Perché sapeva, quella canaglia, che si vive una volta sola, e che il vero peccato è buttare nel cesso la vita, come noi. Lo vedi” accennò all'acqua “quando il tuo pesciolino abbocca e quando no?”.

“Sì” risposi.

“Oh” alzò un dito e i suoi occhi rossi spersero dalle fessure. “Ma se si muovesse di qua e di là, rovesciandosi sulla riva, lo noteresti? Quando tutto intorno salta, dove si può guardare?”.

Rimasi in silenzio, ma non per il fatto di non saper cosa rispondergli, bensì perché un bagliore di comprensione mi sfiorò la mente. Qualcosa di fosco, di massiccio, di “adulto” stava davanti alle porte di un palazzo per bambini, un palazzo giocattolo, e iniziava a tessere strani disegni con tinte fino ad allora invisibili sulle sue fragili mura.

E io, come incantato, guardavo il galleggiante che si dibatteva in modo impercettibile per il contatto con le bocche vellutate degli avannotti.

Restammo seduti in silenzio per un minuto quando, all'improvviso, la rossa piumetta del galleggiante si immerse nell'acqua per poi ricomparire in superficie subito dopo. Mi spostai verso la canna, quasi senza fiatare.

Il galleggiante fece nuovamente un salto, ma sapevo che non era ancora il momento. In quell'istante il vecchio Eroplanov scoppiò a ridere con voce parlata:

“Ecco lì! È come un ospite non invitato, e tu invece, zac! Come se l'avessi aspettato per tutta la vita!”. Lo zittii, temendo che la forte risata spaventasse il pesce. E così infatti accadde: l'abboccare cessò, sull'amo si contorceva solitario il verme.

“Ma l'hai visto!” continuò imperterrito il vecchio. “Anche Slivyč ha visto. Una volta io e lui ci sbronzammo, e lui al mattino sembrava avere i postumi. Basta, mi dice, non posso più vedere la tua faccia. E uscì. E da quel momento, qualcosa cambiò nella sua testa. Poi, certo, è cresciuto come un orfano, anche se un tempo se la spassava con le donne”.

Riprese a bere, quasi senza smorfie.

вокруг себя. Толкового, нужного. Чего куда приспособить можно. А он все углядывал. И, бывало, палку каку, гвоздей, шиферу – хозяйский подход. Все в хозяйство пускал. Я ж ему всегда говорил, мол, твоя земля, Сливыч, ничья так, как твоя. А он мне, бывало, спокойно, Робя, без шуму – куда нам торопиться. А и то верно – дураки торопятся.

– Я бы да, не смог так, – после очередного затишья заключил я.

– Да хрен его знает. Кому что... кому что...

– Один... Не, ну одному можно, только зачем? – я вяло удивился.

– О, умный. А тебя мамка родила когда – ты с друзьями да подругами вылез? Нет. Один. И Сливыч говорил про то. Я, говорит, как вышел один, так один и уйду. Чего, мол, тут сопротивляться... закону то есть. Во. Он это философией называл. Я, говорит, по закону живу, как все в мире. Понимаешь? Один родился, один умер.

Я пожал плечами.

– Как-то все равно нехорошо он так «того». Никто не знал – лежал бы да лежал.

– Все мы так полежим еще. Одни полежим, никого там не будет поздороваться.

Тогда я впервые за эту беседу посмотрел в кроличьи глаза Роберта Еропланова, потомственного пьяницы, раскрывшего мне в тот вечер секрет одиночества. И, вода с небом свидетели, земля свидетельница, как же я тогда загрустил, как мне хотелось заплакать и прогнать Еропланова, говорящего такие ужасные вещи. А тот смотрел на меня, бесполезного, размазанным взглядом. Затем он перевернулся на четвереньки, побряхтел, поматерился и кое-как встал на полусогнутые.

– Ну, вот и помянули, гляди, – сказал он и вперевалку побрел вдоль забора к дороге. А я застегнулся и вытащил удочку. На конце лески болтался бурый ротан. Что ж это за порода такая? – дернет и не воует – глотает вслепую, аж до кишок. Нанизывается сам, как макароны ест. Рыбка пару раз вильнула хвостом на моей ладони. Я захотел отпустить ее. Вспомнил, как мама говорила про детишек и семью, которую я без кормильца оставляю. А потом вдруг понял – нет у него никакой семьи, нет друзей, нет врагов. Он может даже уже съел своих детей. Нечего ему было беречь, нечем владеть, кроме целого мира вокруг. Черными выпученными глазами, в которых отражалось

“Ecco, così era fatto, capisci? Nooo,” disse cantilenando come per assentire “certamente qualcuno è così per destino. Un altro in questo modo non potrebbe vivere. O ubriaco o di nuovo tra la gente è difficile. E senza una donna magari non pura, ma pur sempre in grado di dare da mangiare, di rammendare un paltò o, che so, una giubba eh, mica tutte sono così e la mia donna è spudorata, come me del resto. Ma Slivyč le sapeva le cose. Poteva capitare che uscisse al mattino a vedere cosa capitava alla gente, che cosa non andava e che cosa andava perso inutilmente. Dopotutto, quante cose non notiamo intorno a noi! Chiare, utili, adattabili... Lui invece notava tutto! Potevano esserci un qualche bastone o chiodi, o ardesia: il punto di vista del padrone. Rendeva utile tutto. Gli dicevo sempre: ‘Slivyč, nessuno ha una terra come la tua’. Ma capitava che tranquillamente mi rispondesse: ‘Robja, calmati, a che serve affrettarsi?’ Ed è giusto infatti, gli stupidi si affrettano”.

“Io così non ce la farei” dissi dopo l’ennesimo silenzio.

“Lo sa il diavolo. Uno una cosa, uno un’altra...”.

“Da solo... No, be’, per uno che vive solo può andare bene, ma perché?”.

“Oh, sei sveglio! Ma tu, quando la tua mamma ti ha messo al mondo, sei uscito con amici e amichette? No, eri solo. E Slivyč parlava proprio di questo. Io, diceva, come sono nato solo, così me ne andrò. Come opporsi? Alla legge, intendo. Oh. Lui la chiamava filosofia. Io, diceva, vivo secondo una legge, come tutti nel mondo. Capisci ragazzo? Da solo era nato, da solo è morto”.

Mi strinsi nelle spalle.

“Non è comunque una bella cosa... Nessuno lo sapeva, sarebbe rimasto lì”.

“Tutti noi ci sdraieremo così. E da soli, senza che nessuno ci venga a salutare”.

Allora, per la prima volta dall’inizio della conversazione, guardai gli occhi da coniglio di Robert Eroplanov, il beone da generazioni che mi aveva svelato in quella sera il segreto della solitudine.

Ed erano testimoni l’acqua, il cielo e la terra di come mi intristii, di come volessi piangere e scacciare Eroplanov che parlava di cose così orribili. Lui invece con lo sguardo smarrito guardava me così inutile. Poi si voltò carponi, ansimò, bestemmiò, e in qualche modo si alzò, tutto curvo.

“Be’, l’hanno commemorato... guarda” disse trascinandosi dondolando lungo la palizzata, verso la strada.

Mi abbottonai e tirai fuori la canna. All’estremità della lenza si dibatteva un ghiozzo marroncino. E

красное небо, глядел он в никуда и точно ни о чем не думал. И поэтому я отпустил его обратно в пруд. Мол, плыви, одинокий ротан, заляжь в песке. Ладонь пахла рыбой. Солнце село, оставив оплавленный край горизонта стекать следом. Карастель затила песню у ручья. Опускался туман. Мне вдруг стало хорошо и уютно. Я даже пару раз подпрыгнул.

– А мне хорошо! – крикнул я в поле, – и одному.

che specie è? Si muove a scatti, non è combattivo, inghiotte alla cieca, fino alle budella. Si infilza da solo, come quando si mangia la pasta. Il pesciolino per due volte piegò la coda sulla mia mano. Mi venne voglia di lasciarlo andare; mi ricordai come parlava la mamma dei bambini e della famiglia; io li stavo lasciando senza capofamiglia. Ma poi all'improvviso compresi: quello non aveva alcuna famiglia, né amici né nemici. Magari si era appena mangiato i suoi figli.

Non aveva nulla da custodire, né da possedere, salvo l'intero mondo attorno a sé. Con occhi neri e sbarrati nei quali si rifletteva il cielo rosso, guardava nel vuoto, non pensando a nulla. Perciò lo lasciai andare di nuovo nello stagno. Per dire, nuota, nuota, solitario ghiozzo, stenditi sulla sabbia!

Il mio palmo odorava di pesce, il sole era tramontato, fondendosi con la linea dell'orizzonte; un re di quaglie intonò un canto sopra il ruscello. Calò la nebbia. Improvvisamente mi sentii a mio agio; addirittura per due volte saltellai.

“A me così va bene!” gridai in mezzo al campo. “Anche da solo!”.

Отзыв о рассказе

Рассказ «Сливыч» обладает всеми признаками жанра деревенской прозы. Он читается на одном дыхании, сразу привлекая к себе внимание редким в современности умением сочетать лучшие традиции русской литературы с выраженным новаторством. Очевидная новизна состоит в том, что тема жизни и смерти «ненужного» человека разрешена через восприятие тринадцатилетнего мальчика. Одиночество, нищета, страшные подробности смерти Сливыча не затмевают светлого образа мальчика, сидящего с удочкой у тихой деревенской воды. Именно этот образ и становится камертоном рассказа. Детская картина мира и детское сострадание, ирония и драматизм, описания деревенской жизни и живые, мастерски сделанные диалоги, при первом прочтении создают впечатление, что автор – опытный мастер. Тем отраднее было узнать о юном возрасте Дмитрия Романова. Хотелось бы пожелать ему большого подлинного пути в литературе.

Елена Пастернак

Nota critica

Il racconto *Slivyč* possiede tutti i caratteri del genere della cosiddetta prosa contadina. Si legge di getto e immediatamente richiama su di sé l'attenzione con la rara abilità, nella contemporaneità, di saper coniugare le migliori tradizioni della letteratura russa con una spiccata innovazione.

Un'evidente novità sta nel fatto che il tema della vita e della morte di un uomo "inutile" sia risolto attraverso la percezione di un tredicenne. La solitudine, la miseria e i terribili dettagli della morte di Slivyč non offuscano l'immagine luminosa del ragazzino, seduto con una canna da pesca vicino al placido specchio d'acqua campestre. Proprio questa immagine diventa il culmine del racconto; l'infantile immagine del mondo e la compassione, l'ironia, la drammaticità, le descrizioni della vita contadina e i vivi dialoghi composti magistralmente, danno alla prima lettura l'impressione che l'autore sia un esperto artista. Fa ancora più piacere sapere la giovane età di Dmitrij Romanov. Si avrebbe voglia di augurargli un grande e autentico percorso nella letteratura.

Elena Pasternak

Биография

Дмитрий Романов. Родился в 1996 г. в городе Люберцы. Получил первое образование в Московском Институте Тонких Химических Технологий. Работал преподавателем, сотрудником медицинских лабораторий, переводчиком. Совершил ряд экспедиций на Соловецкие острова, в Карелию и на Алтай. В настоящее время учится в Литературном институте имени А. М. Горького.

Biografia

Dmitrij Romanov è nato nel 1996 nella città di Ljubercy. Si è diplomato all'Istituto di Alte Tecnologie Chimiche di Mosca. Ha lavorato come insegnante, assistente presso laboratori medici e traduttore. Ha compiuto una serie di spedizioni alle Isole Solovki, in Carelia e nell'Altaj. Attualmente studia presso l'Istituto Letterario A.M. Gor'kij.

Елена Тарханова

Перевод Александры Моретти

Elena Tarchanova

Traduzione in italiano di Alessandra Moretti



ПИСЬМО

Проснувшись, Персона Умана первым делом вспомнила обещание родителей, данное ей еще две недели назад, и зажмурилась в предвкушении. Сегодня вечером она будет сидеть в большом и светлом зале, сама выберет себе блюда, продемонстрирует свое умение кушать руками (по правде говоря, с помощью ножа и вилки ей нравилось есть гораздо больше, но ничего не поделаешь – современный этикет), а также умение вести степенную беседу на культурные и, как сказали родители, отвлеченные темы. Первый поход в ресторан – такое случается не каждый день! Лишь бы не ошибиться, нахмурила лоб Персона, нашаривая босыми ногами тапочки, лишь бы не сказать что-нибудь такое, что расстроит родителей.

За окном неслышно падал невесомый снег, утренняя тишина растворялась в пробуждающемся гуле города, провела на прощание ладонью по стеклу, оставляя на ней причудливую россыпь снежинок, за углом проехала первая машина... Персона быстро переплела руки, крепко зажмурилась и торопливо зашептала в окно: «Милый Баббо Натале, пожалуйста-пожалуйста-пожалуйста, сделай так, чтобы родители мной гордились! Обещаю, я буду очень-очень стараться!»

Про доброго старика, который на Рождество приносит подарки послушным детям, Персона вычитала в старых-престарых книгах из скрипучего шкафа, оставшегося от дедушки. Дедушка сразу после рождения внучки рассорился с родителями Персоны, и о нем в доме не говорили, словно и не было его никогда в их жизни. Персона не скучала по дедушке – она никогда его не видела, а скучать по тому, кого ты не знаешь, она не умела. Мама все время порывалась выкинуть книги «сумасшедшего старика», и один раз родители даже поссорились, думая, что их никто не слышит. «Пойми, это не просто неприлично, это опасно!» – громким шепотом говорила рассерженная мама. «Иногда я думаю, что он был прав», – кротко сказал папа, и мама задохнулась от возмущения, но ответить не успела – родители заметили в дверях озабоченную мордашку Персоны и

LA LETTERA

Appena sveglia, per prima cosa Persona Umana¹ si ricordò della promessa fattale dai genitori due settimane prima e socchiuse gli occhi pregustando: quella sera sarebbe stata seduta in una grande sala illuminata, avrebbe scelto ella stessa i piatti, avrebbe dimostrato la sua bravura nel mangiare con le mani (a dire il vero con forchetta e coltello le piaceva di gran lunga di più, ma non c'era niente da fare: era la moderna etichetta), e perfino la sua capacità di tenere una conversazione impegnata su temi culturali e, come dicevano i suoi genitori, astratti. La prima spedizione al ristorante... sono cose che non capitano tutti i giorni! “Purché non commetta qualche errore” pensò Persona aggrottando la fronte, tastando con i piedi nudi le pantofole, “purché non mi scappi qualcosa che faccia dispiacere ai miei genitori”.

Dietro la finestra cadeva silenziosa una neve leggera; nel risvegliarsi del frastuono cittadino si dissolveva la quiete dell'alba: congedandosi, carezzò con la mano il vetro, lasciandovi una moltitudine di fiocchi di neve; dietro l'angolo passò la prima macchina... Persona intrecciò rapidamente le mani, strizzò forte gli occhi e in fretta bisbigliò alla finestra: “Caro Babbo Natale, ti prego, ti prego, ti prego, fai in modo che i miei genitori siano orgogliosi di me! Prometto che mi impegnerò tanto tanto!”.

Persona aveva letto del buon vecchietto che a Natale porta i doni ai bambini ubbidienti nei vecchi, vecchissimi libri riposti nello scricchiolante armadio rimastole dal nonno. Subito dopo la nascita della nipotina, il nonno aveva litigato con i genitori di Persona, motivo per cui di lui in casa non si parlava, quasi non fosse mai esistito nelle loro vite. Persona non sentiva la mancanza del nonno: d'altronde non lo aveva mai visto e non poteva aver nostalgia di qualcuno che non conosceva. La mamma tentava continuamente di buttar via i libri “del vecchio matto” e una volta i genitori avevano perfino litigato, credendo che nessuno li sentisse. “Lo

¹ In italiano nel testo. Così anche, più avanti, Babbo Natale e Cittadino. (N.d.T.)

как по команде замолчали. Дело кончилось тем, что шкаф просто перетащили на чердак и оставили доживать свой век среди других старых и бесполезных вещей.

В свои пять лет Персона очень любила читать, но методические пособия «для правильного и гармоничного развития», которые покупали ей родители, навевали скуку. Пробираясь на чердак, девочка знала, что поступает нехорошо – ей строго-настрога запретили подходить к шкафу. Чувство вины длилось недолго: оказалось, что рассохшийся шкаф – настоящий тайник с сокровищами! Какие удивительные приключения скрывались в старых книгах! Там звери говорили на человеческом языке, злые и добрые волшебники сражались между собой, и было Рождество, и Баббо Натале спешил с подарками, и бубенцы оленей весело звенели! Ей даже казалось, что с пожелтевших страниц доносится запах рождественских пряников, правда-правда! Книги будоражили, подстегивали фантазию, и однажды нашептали: письмо.

На листочке, выданном из тетради «для усовершенствования правильного и красивого почерка», она, волнуясь, писала заветное письмо Баббо Натале. Ей хотелось совсем немного: новый томик с волшебными историями, рождественский пряник (надо же, наконец, узнать, как он пахнет!) и красивое платье, «как у принцессы». Подумав, Персона, послунявила карандаш и приписала: «В этот вечер мы с мамой и папой идем в ресторан, но ты дождись меня! Я очень хочу тебя увидеть». Заклеив конверт, Персона, высунув язык от усердия, вывела свой адрес, в правом нижнем углу крупными буквами написала: «Баббо Натале» и в тот же день, по дороге в центр «всестороннего развития маленьких граждан» опустила его в почтовый ящик.

...Весь день стрелки часов, как назло, издевательски медленно ползли по циферблату. Когда, наконец, мама позвала ее одеваться, Персона вздохнула: жаль, что платье, как у принцессы, Баббо Натале принесет только после ужина – было бы хорошо надеть его в ресторан. Но, увы – на кровати уже был разложен комплект – широкие штаны и свободная рубашка из последней коллекции модного французского дизайнера незападного происхождения. Платьев в гардеробе Персоны никогда не было. Спрашивать у мамы почему, она страшилась – это означало признаться в том, что она тайком чита-

vuoi capire che tutto ciò non solo non sta bene, ma è pericoloso!” diceva la mamma arrabbiata con un sussurro ben udibile. “A volte penso che avesse ragione lui” tagliò corto il papà, e la mamma sospirò di indignazione senza fare in tempo a rispondere: dietro la porta i genitori avevano scorto il musetto preoccupato di Persona e avevano taciuto all’unisono. La questione si concluse con il trasloco dell’armadio in soffitta, lasciato a concludere la propria esistenza fra le altre cose vecchie e inutili. Nonostante avesse solo cinque anni, Persona amava molto leggere, ma i manuali metodologici “per lo sviluppo corretto e armonico” che le compravano i suoi genitori la annoiavano. Intrufolandosi in soffitta, la bimba sapeva di fare qualcosa di proibito: le avevano categoricamente vietato di avvicinarsi all’armadio. Ma il senso di colpa durava ben poco: il decrepito armadio si era rivelato un vero nascondiglio di tesori! Che avventure incredibili si celavano in quei vecchi libri! Gli animali parlavano nella lingua degli uomini, maghi buoni e cattivi erano in lotta fra loro, c’era il Natale e Babbo Natale che si affrettava con i regali, mentre i campanelli delle renne suonavano festosamente! Le sembrava persino che dalle pagine ingiallite arrivasse il profumo dei biscottini di Natale, proprio così! I libri la eccitavano, stimolavano la sua fantasia e una volta le suggerirono perfino... una lettera. Su un foglio strappato da un quaderno “per il perfezionamento di una corretta e bella calligrafia”, Persona, in preda all’agitazione, scrisse una lettera segreta a Babbo Natale. Non chiedeva niente di particolare: un nuovo volumetto di storie di magia, un biscottino di Natale (bisognava pur scoprire alla fine che profumo avesse!) e un bel vestito, “come quello di una principessa”. Riflettuto un po’, Persona insalivò la matita e aggiunse: “Questa sera vado al ristorante con mamma e papà, ma tu aspettami! Voglio tanto vederti”. Sigillata la busta, tirando fuori la lingua per l’impegno, Persona scrisse accuratamente il proprio indirizzo e nell’angolo in basso a destra, a grandi caratteri, “Per Babbo Natale”. Quello stesso giorno, sulla strada verso il centro “per lo sviluppo completo dei piccoli cittadini”, lasciò cadere la lettera nella cassetta della posta.

... Per tutta la giornata le lancette dell’orologio, come per dispetto, si spostarono beffardamente lente sul quadrante. Quando infine la mamma la chiamò per vestirsi, Persona sospirò: peccato che Babbo Natale avrebbe portato il vestito da principessa solo dopo cena, sarebbe

ла дедушкины книги. Только там носили платья. В реальной жизни все, и взрослые, и дети, облачались в штаны, рубашки или какие-то бесформенные балахоны. Впрочем, мода не стояла на месте, и в этом сезоне она рекомендовала покупать балахоны с «африканскими узорами, передающими краски плодородной, свободной от гнета земли». На пике популярности были и ткани с цифрами, о которых модный еженедельник с восторгом писал: «...еще одно доказательство превосходства арабской цивилизации над нашей!» Журнал также настаивал на том, что глаза в этом сезоне нужно подводить черным карандашом особенно ярко. Для карандаша Персона, впрочем, была еще мала, но всегда с удовольствием наблюдала за неуклюжими манипуляциями папы. Мама каждый раз помогала ему, четким отработанным движением нанося красивые и ровные линии. Однажды Персона поинтересовалась, почему все красятся и одеваются одинаково. Мама (впрочем, она каждый раз выходила из себя, когда Персона ее так называла) недовольно отчеканила: «Уму непостижимо, чему тебя учат в этом центре развития, если ты до сих пор не усвоила прописные истины!» Пришлось обратиться к папе. Тот довольно долго бормотал что-то, а потом, вздохнув, объяснил, что так заведено. Закон об уничтожении последних межполовых различий был принят десять лет назад. «Что такое межполовые различия?» – тут же спросила Персона. Папа вздохнул и перешел на шепот: «Раньше мы все делились на мужчин и женщин, женщины, как твоя мама, красились, носили платья, а мужчины, как я, носили брюки и не пользовались косметикой, а потом там, наверху, – папа поднял палец вверх, – решили, что межполовые различия унижают звание Человека». Персона уточнила: «Тебе нравится, что тебя больше никто не унижает?» Папа замялся, но все же ответил: «Да, я рад, что мне оставили право носить штаны». В тот вечер он был особенно задумчив...

...В ресторане было довольно шумно. Персона старалась ничем не выдать своего возбуждения, но получалось плохо, и все правила современного этикета выскочили у нее из головы. Подошедший официант молча швырнул меню на стол. Его кожа была иссиня-черной, глаза недовольно щурились, а толстые губы кривились в презрительной усмешке. «Спасибо», – поблагодарила его Персона. В ответ официант высморкался дву-

stato bello indossarlo al ristorante. Ma, ahimé, sul letto era già disteso un completo: larghi pantaloni e una camiciona dall'ultima collezione di uno stilista di moda francese di provenienza non occidentale. Nel guardaroba di Persona di vestiti non ce n'erano mai stati. Aveva il terrore di chiedere spiegazioni alla mamma poiché avrebbe significato ammettere che di nascosto leggeva i libri del nonno. Solo lì si indossavano vestiti. Nella vita reale tutti, grandi e bambini, si abbigliavano con pantaloni, camicie o qualche veste informe. Del resto, la moda andava avanti e in quella stagione consigliava di comprare vesti "con disegni africani, che trasmettevano le tinte di una terra fertile e libera dall'oppressione". Al top della popolarità vi erano anche tessuti con cifre, a proposito dei quali un settimanale di moda scriveva entusiasta: "Ancora una dimostrazione della superiorità della civiltà araba sulla nostra!". Il giornale insisteva tra l'altro sul fatto che in quella stagione bisognasse tingere gli occhi con una matita nera in modo particolarmente marcato. Per la matita Persona era ancora piccola, ma osservava sempre con piacere le goffe manipolazioni del padre. La mamma lo aiutava ogni volta applicando linee regolari e belle con un movimento elaborato e preciso. Una volta Persona si era interessata al perché tutti si truccassero e si vestissero allo stesso modo. La mamma (che del resto usciva fuori di sé quando Persona la chiamava così) aveva scandito malvolentieri: "Non riesco a capire cosa ti insegnino in quel centro di sviluppo se ancora non hai assimilato le più banali verità!". Aveva dovuto rivolgersi al papà, che piuttosto a lungo aveva bofonchiato qualcosa, quindi, sospirando, le aveva spiegato che così era statuito. La legge sull'abolizione delle ultime differenze di genere era stata approvata dieci anni prima. "E cosa sono queste differenze di genere?" aveva chiesto allora Persona. Il padre aveva sospirato ancora e, iniziando a bisbigliare, aveva detto: "Prima noi tutti ci dividevamo in uomini e donne: le donne, come tua madre, si truccavano, indossavano dei vestiti, e gli uomini come me portavano i pantaloni e non adoperavano cosmetici; poi lassù – e aveva rivolto il dito verso l'alto – hanno deciso che le differenze di genere umiliano il nome di Uomo". Persona si era accertata: "E a te piace che nessuno più ti umili?". Il papà si era confuso del tutto, ma aveva risposto: "Sì, sono felice che mi abbiano lasciato il diritto di portare i pantaloni". Quella sera era stato particolarmente pensieroso...

мя пальцами на пол и вытер пальцы о скатерть. Родители безмятежно улыбались ему. «Мама, можно я выберу сама?» – спросила Персона, и мама, подпрыгнув на стуле, яростно зашептала: «Я сотни раз просила тебя не называть меня так!» «Извини», – Персона виновато опустила голову. Первый промах. Ей показалось, что абсолютно все в зале заметили ее ошибку и даже перестали жевать. А родители уже тыкали в строчки меню, заискивающе глядя в глаза официанту, тот безучастно смотрел на них. «Я хотела бы заказать салат!» – вежливо обратилась к официанту Персона. Мама с раздражением посмотрела на нее: «Он не говорит на нашем языке!» «Почему же тогда он работает тут?» – смутилась маленькая Персона. «Потому что это его святое право!» – зло прикрикнула мама, щеки ее заалели. За соседним столиком двое ярко накрашенных мужчин в розовом, встревоженные маминым окриком, на секунду перестали обниматься. Из-за спины официанта вынырнул метрдотель: «Маленький гражданин первый раз в ресторане?» Мама, вся красная, молча кивнула. Метрдотель ободряюще похлопал официанта по плечу и что-то сказал на незнакомом языке. Официант ушел, по дороге смачно харкнув в тарелку какой-то пожилой дамы. Зал радостно зааплодировал, а сама дама аплодировала громче всех и даже попыталась привстать, чтобы пожать руку удаляющемуся официанту. Метрдотель подмигнул Персоне: «Мы получили пять премий «Безграничной толерантности!» И обратился к родителям: «Что будете заказывать?» Мама, все еще пунцовая, заказала: «№ 23, 34 и 4». Метрдотель, не глядя на нее, быстро строча в блокноте, тихо сказал: «№ 4 – это вино, не рекомендую, не рекомендую, сами видите – в зале довольно много посетителей, не приемлющих алкоголь в силу религиозных убеждений». Мама залепетала извинения, и метрдотель покровительственно кивнул. Потом делал заказ папа, а Персона пыталась разобраться в меню, где были одни цифры. Чуть не плача, она призналась: «Я ничего не понимаю...». Метрдотель терпеливо вздохнул и наклонился к ней: «У блюд не бывает названий». «Но как же я узнаю, какие блюда выбрала?» – допытывалась Персона. «Узнаешь, когда принесут», – развел руками метрдотель. Глядя в растерянное лицо маленькой посетительницы, он смягчился: «Понимаешь, если бы в меню были названия, то, выбрав одно

... Il ristorante era piuttosto rumoroso. Persona si sforzava di non manifestare in alcun modo la propria agitazione, cosa che le riusciva piuttosto male, tanto che tutte le regole del *bon ton* contemporaneo le passarono di mente. Il cameriere che si era avvicinato in silenzio scagliò il menu sul tavolo. La sua pelle era nero-bluastro, gli occhi erano socchiusi per il malcontento e le grosse labbra piegate in una smorfia di disprezzo. “Grazie” gli disse Persona. Per tutta risposta il cameriere con due dita si soffiò il naso in terra e si pulì la mano sulla tovaglia. I genitori gli sorridevano imperturbabili.

“Mamma posso scegliere da sola?” chiese Persona, e la mamma, saltando sulla sedia, bisbigliò furiosamente: “Ti ho detto centinaia di volte di non chiamarmi così!”. “Scusa” e Persona abbassò la testa con aria colpevole. Prima *gaffe*. Le sembrava che tutti, ma proprio tutti nella sala avessero notato il suo errore e avessero persino smesso di masticare. I genitori puntavano il dito sulle righe del menu, guardando con piaggeria negli occhi il cameriere, il quale li osservava indifferente. “Io vorrei ordinare un’insalata!” si rivolse gentilmente Persona al cameriere. La madre la guardò con disapprovazione: “Non parla la nostra lingua!”. “E perché allora lavora qui?” si confuse la piccola Persona. “Perché questo è un suo sacrosanto diritto!”, gridò stizzita la madre, e le guance le si fecero scarlatte. Al tavolino vicino due uomini in rosa, truccati in modo appariscente, scossi dal grido della mamma, per un istante smisero di abbracciarsi. Da dietro la schiena del cameriere apparve il maître: “Il piccolo cittadino è al ristorante per la prima volta?”. La mamma, tutta rossa, annuì in silenzio. Il maître dette un’incoraggiante pacca sulla spalla del cameriere e gli disse qualcosa in una lingua sconosciuta. Il cameriere uscì, lungo il tragitto sputò di gusto nel piatto di una signora anziana. La sala intera applaudì allegramente, la signora stessa applaudì più forte degli altri e provò persino ad alzarsi per stringere la mano al cameriere che si allontanava. Il maître ammiccò a Persona: “Abbiamo ricevuto cinque premi ‘Infinita tolleranza!’”. E si rivolse ai genitori: “Cosa volete ordinare?”. La mamma, ancora scarlatta, ordinò: “Numero 23, 34 e 4”. Il maître scrivendo velocemente nel bloc notes senza guardarla disse piano: “Il numero 4 è un vino, non ve lo consiglio, non ve lo consiglio affatto: vedete voi stessa che nella sala ci sono molti ospiti che non bevono alcolici per via di convinzioni religiose”. La mamma iniziò a balbettare

блюдо, ты непременно дискриминировала бы другое. У блюд не бывает названий, как не бывает межполовых различий, как не бывает национальности у преступников, или как их сегодня принято называть – лиц, альтернативно социализированных! Ты, конечно, слышала об этом?» Персона никогда не понимала этого выражения: у каждого человека есть национальность, будь он хороший человек или плохой. Впрочем, в центре развития ей объяснили, что плохих людей нет вовсе, а есть люди, которым в детстве не уделялось достаточного количества внимания или же они воспитывались в другой культуре, поэтому к их поступкам надо относиться снисходительно и с пониманием. «Мы должны ежеминутно искупать свою вину и делиться с ними всем, что имеем», – наставляла ее педагог центра. Персона знала все это правило наизусть, но все же не смогла удержаться от слез, когда мальчик Мохаммед с черной кожей отнял у нее конфету и больно стукнул по спине с криком «Белая тварь!» Персона вспомнила, как сердилась на нее за эти слезы педагог и как долго она кричала что-то о бремени белого человека и о цивилизационном долге... Вздохнув, Персона вынырнула из воспоминаний. Метрдотель все еще смотрел на нее. Есть расхотелось. Она наугад ткнула в меню пальцем.

Остальные посетители оживленно хватили еду руками, слизывали с пальцев жир, смачно рыгали. Пользоваться вилками и ножами согласно указу за прошлый год, можно было только дома, в ресторанах же они были законодательно запрещены: это могло оскорбить новых граждан страны. «Это все твое воспитание», – злобно выговаривала в это время мама папе или, как предписывала называть их новая статья Конституции, родитель № 1 и родитель № 2. Родитель № 2 смущенно рассматривал свои ботинки. «Твои гены! Твой папочка! Дайте ребенку нормальное имя, – передразнила мама кого-то, – Как будто это имя ненормальное!» Персона переводила взгляд с одного родителя на другого. В своем имени она не видела ничего странного – в их группе центра развития у всех детей со светлой кожей были подобные имена: Персона Умана, что означало «Человек»; мальчик, который давно нравился Персоне, носил имя Читтадино, что означало «Гражданин»... У детей с небелой кожей, и таких в их группе было большинство,

scuse e il maître annuì con fare rassicurante. Poi ordinò il papà, mentre Persona cercava di raccapezzarsi nel menu, sul quale c'erano solo numeri. Quasi piangendo ammise: "Non ci capisco niente...". Il maître sospirò pazientemente e si chinò verso di lei: "I piatti non hanno nome". "E come faccio a sapere che piatti ho scelto?" cercava di venirne a capo Persona. "Lo saprai quando li porteranno" allargò le braccia il maître. Vedendo il volto smarrito della piccola ospite si addolcì: "Capisci che se ci fossero i nomi nel menu, scegliendo un piatto immancabilmente ne discrimineresti un altro? I piatti non hanno nomi così come non esistono distinzioni di genere o di etnia fra i delinquenti, anzi, come li chiamano oggi, gli individui diversamente sociali! Di sicuro ne avrai sentito parlare?". Persona non aveva mai capito questa espressione: ogni persona, buona o cattiva che sia, deve pur avere una nazionalità. Del resto, al centro di sviluppo le avevano spiegato che non esistono affatto persone cattive; ci sono persone che durante l'infanzia non hanno ricevuto una quantità sufficiente di attenzioni o che sono state educate in un'altra cultura e per questo è necessario comportarsi con loro con indulgenza e comprensione. "Dobbiamo continuamente espiare le nostre colpe e dividere con loro tutto ciò che abbiamo" la istruiva l'insegnante del centro. Persona conosceva questa regola a memoria ma non aveva potuto comunque trattenere le lacrime quando un ragazzo dalla pelle nera, Mohammed, le aveva sottratto una caramella e l'aveva dolorosamente colpita sulla schiena gridandole: "Bianca carogna!". Persona ricordò come l'insegnante si fosse arrabbiata con lei per quelle lacrime e come a lungo avesse gridato qualcosa sul fardello dell'uomo bianco e il dovere della civilizzazione... Sospirando, riemerse dai ricordi; il maître continuava a guardarla. Aveva voglia di mangiare. A caso fece scorrere il dito lungo il menu. Gli altri commensali afferravano animatamente il cibo con le mani, leccavano via il grasso dalle dita, ruttavano con piacere. Secondo un decreto dell'anno precedente forchetta e coltello potevano essere usati solo a casa, mentre nei ristoranti erano vietati per legge: il loro uso avrebbe potuto offendere i nuovi cittadini del paese. "È tutto frutto della tua educazione" scandiva con astio la madre al padre o, come prescriveva di chiamarli il nuovo articolo della Costituzione, il genitore №1 al genitore № 2. Il genitore № 2 si guardava con imbarazzo le scarpe. "I tuoi geni! Il tuo paparino! Date al bambino un nome normale," continuava scimmiottando

имена были, как сказала сотрудник центра, прекрасно традиционные – Мохаммед, Али, Аиша, Зейнаб. Традиционные имена среди остальных детей не приветствовались. Персона вспомнила, что однажды в их группе появилась тихая белокурая девочка со странным именем Мария. Через пару минут ее окружили три Мухаммеда и две Аиши и начали бить. Педагоги приказали никому не вмешиваться и только ласково уговаривали разъяренных детей незападного происхождения поберечь руки...

Горько вздохнув, Персона напомнила себе, что, несмотря на все ее промахи, сегодня она увидит Баббо Натале, и настроение чуть улучшилось. Мама все еще сердилась и что-то выговаривала отцу, до слуха Персоны доносились обрывки фраз: «... она растет недостаточно нетолерантной», «...а эти странные фантазии про собак!» Персона покраснела: несколько месяцев назад она попросила у родителей собаку и в результате выслушала длинную нотацию, что держать собак в квартирах законодательно (опять это скучное слово) запрещено, их вид может оскорбить соседей с «другим культурным кодом», и вообще, где она услышала про них! Впервые про собак она услышала в центре развития: так ее и других светлокожих детей называли дети с традиционными западными именами. Когда маленькая Персона, терзаясь сомнениями, заглянула в словарь, который по какой-то случайности родители не убрали в дедушкин шкаф, она узнала, что собака – это такой симпатичный и лохматый зверь, который издревле помогал людям охотиться и охранял дома. Но связь между собой и собакой так и не уловила.

«... Вечно рассеянная, спроси ее, какой сегодня день, и не скажет», – продолжала мама. «Какой сегодня день?» – резко спросила родитель № 1, дернув Персону за рукав. «Сочельник», – все еще думая о Рождестве и Баббо Натале, довольно громко ответила Персона, и в зале воцарилась тишина. Через секунду тишина взорвалась и рассыпалась на миллионы осколков – зал бушевал. «Неслыханно, – гудели за соседним столом, где расположилась семья с пятью детьми, – А с виду приличные!» За другим столом толстуха с плотной тряпкой на лице, позволяющей видеть только густо накрашенные глаза, так страшно визжала, что из-под тряпки брызгала слюна. Дама, которой официант

qualcuno “come se questo nome non fosse normale!”. Persona spostava lo sguardo da un genitore all’altro. Nel proprio nome non vedeva nulla di strano; nel gruppo al centro di sviluppo tutti i bambini dalla pelle chiara avevano nomi simili: Persona Umana significava “uomo”; un bambino che le piaceva da tempo si chiamava Cittadino, cioè “abitante”... I bambini dalla pelle scura, che nel suo gruppo erano la maggior parte, avevano nomi “meravigliosamente tradizionali”, come soleva dire una collaboratrice del centro: Mohammed, Ali, Aisha, Zeinab. Nomi tradizionali tra gli altri bambini non se ne incontravano. Persona ricordò di quando nel loro gruppo era comparsa una bimba silenziosa, bionda bionda, con lo strano nome di Marija. In un paio di minuti l’avevano circondata tre Mohammed e due Aisha e avevano iniziato a colpirla. Gli istitutori avevano ordinato di non intromettersi e con tenerezza convincevano i furiosi bambini di provenienza non occidentale a non farsi male alle mani...

Sospirando amaramente, Persona si ricordò che nonostante tutti gli sbagli quel giorno avrebbe incontrato Babbo Natale, e l’umore migliorò un po’. La mamma continuava a essere arrabbiata e rimproverava qualcosa al padre; all’orecchio di Persona arrivavano brandelli di frasi: “... cresce non abbastanza tollerante!... e quelle strane fantasie sui cani!”. Persona arrossì: qualche mese prima aveva chiesto ai genitori un cane e come unico risultato si era sorbita una lunga predica sul fatto che tenere i cani negli appartamenti era vietato per legge (di nuovo quella noiosa parola!), che il loro aspetto poteva offendere i vicini “con un diverso codice culturale” e su dove infine avesse mai sentito parlare di questi cani! Per la prima volta Persona aveva udito parlare dei cani al centro di sviluppo: così i bambini con i nomi tradizionali non occidentali chiamavano lei e gli altri bambini bianchi. Quando la piccola Persona, lacerata dal dubbio, aveva guardato sul vocabolario (che per una qualche casualità i genitori non avevano messo via nell’armadio) era venuta a sapere che il cane è un animale simpatico e peloso che anticamente aiutava gli uomini a cacciare e proteggeva la casa. Ma non aveva comunque colto il legame tra sé e un cane.

“È eternamente distratta: chiedile che giorno è oggi e non te lo saprà dire” continuava la mamma. “Che giorno è oggi?” chiese all’improvviso il genitore № 1, stratonando Persona per una manica. “La vigilia di Natale” rispose lei piuttosto ad alta voce, tutta assorta ancora

плюнул в тарелку, скорбно поджимала губы... У столика вырос метрдотель и голосом, не допускающим возражений, попросил их покинуть ресторан. «У нас приличное заведение!» – яростно отчеканил он под аплодисменты двух ярко покрашенных мужчин в розовом, которые аплодировали, не прекращая обниматься.

...Машина остановилась, и мама, с все еще искаженным от ярости лицом, начала вытаскивать с заднего сидения заплаканную Персону, как вдруг в лицо им брызнул яркий свет. Полицейские из управления по делам «Безмятежного детства» окружили машину, слепя глаза фонариками. «Отойти от ребенка на три шага!» – скомандовал высокий полицейский, держа в руке какое-то письмо. Послышалось щелканье наручников. Персона часто-часто заморгала, уговаривая себя, что это всего лишь сон, и сейчас она проснется. Чей-то голос устало и привычно зачитывал обвинение в ненадлежащем воспитании ребенка: «у вас есть право хранить молчание, ...и очень рекомендую позаботиться о хорошем адвокате, который сможет внятно объяснить суду, как ребенок при порядочных родителях мог написать письмо Баббо Натале, законодательно упраздненному еще лет тридцать назад».

...Через час процедура ускоренного усыновления была завершена, все бумаги подписаны, и двое немолодых мужчин, у одного из которых вся голова была седая, а у другого лысая и в татуировках, счастливо улыбаясь, присели на корточки перед заплаканной Персоной: «Мы твои новые родители». «А кто из вас мама и кто папа?» – прошептала девочка. Лысый смутился и растерянно посмотрел на сотрудников центра. «Ничего, ничего, – зашептал директор, грузный пожилой мужчина, одетый весьма легкомысленно – в яркие леггинсы в цветочек и майку, раскрашенную всеми цветами радуги, – сами понимаете, отвратительное воспитание... не смогли донести элементарные основы... требуется время!.. терпение!» Успокоенные и счастливые новые родители Персоны взяли ее за руки с обеих сторон и повели к выходу.

Еще через час новый родитель № 2 читал ей вслух книгу, настоятельно рекомендованную министерством толерантности для граждан в возрасте четырех – шести лет. «И тогда пингвины-геи, – водя пальцем по строчкам книги, повизгивал родитель, – ко-

nei pensieri sul Natale e su Babbo Natale. Nella sala si fece silenzio. Ma dopo un secondo il silenzio esplose e si frantumò in milioni di frammenti: la sala infuriò. “Inaudito” risuonò dal tavolo accanto al quale sedeva una famiglia con cinque bambini. “E dire che a vederli sembrano persone perbene!”. A un altro tavolo, una donna grassa con uno spesso cencio sul volto che lasciava intravedere solo gli occhi pesantemente truccati stridette in modo così terribile che da sotto lo straccio spruzzò la saliva. La signora alla quale il cameriere aveva sputato nel piatto strinse con afflizione le labbra... Al loro tavolo apparve il maître e con una voce che non ammetteva repliche li pregò di lasciare il ristorante. “Qui pretendiamo maniere decenti!” scandì con rabbia tra gli applausi dei due uomini truccati e in rosa che non smettevano di abbracciarsi.

... L’auto si fermò e la mamma, con il viso ancora stravolto dalla rabbia, stava iniziando a trascinare fuori dal sedile posteriore Persona in lacrime quando all’improvviso li abbagliò una luce chiara. Reparti di polizia del nucleo “Infanzia serena” circondarono la vettura, accecandoli con i fari. “Allontanatevi dalla bambina di tre passi!” ordinò un alto poliziotto che teneva in mano una lettera. Si udì lo schiocco delle manette. Persona batteva spesso le palpebre, cercava di convincersi che fosse tutto un sogno e che ecco, si sarebbe svegliata. Una voce lesse stancamente e come per abitudine l’accusa di educazione inadeguata di bambino: “Avete il diritto di restare in silenzio... e vi consiglio caldamente di procurarvi un buon avvocato, che possa spiegare al giudice in modo chiaro come un bimbo con genitori perbene possa aver scritto una lettera a Babbo Natale, soppresso per legge già trent’anni fa”.

Dopo un’ora la procedura di adozione urgente era compiuta, tutte le carte erano state firmate e due uomini niente affatto giovani, uno dei quali aveva la testa tutta canuta e l’altro pelata e tatuata, sorridendo con aria felice, stavano accoccolati di fronte a Persona in lacrime. “Siamo i tuoi nuovi genitori”. “E chi di voi è mamma e chi papà?” bisbigliò la bambina. Il calvo si turbò e guardò confuso il collaboratore del centro: “Non è niente, non è niente” sussurrò il direttore, un corpulento uomo anziano, vestito con una certa ‘leggerezza’: sgargianti *leggings* a fiori e una maglietta dipinta di tutti i colori dell’arcobaleno, “lo capite da voi che ha avuto un’educazione ripugnante... non hanno saputo porre le basi fondamentali... ci vuole tempo!...

торые очень хотели иметь детей, но не могли в силу физиологических особенностей, усыновили найденное на дороге пингвинье яйцо...». Сжавшись под одеялом, Персона тихо поскуливала: ее душу жгла незнакомая доселе горечь расставания с мамой и папой, и еще что-то новое и странное, вроде невыносимой тоски по дедушке, дедушке, которого она никогда не видела, и не знала...

... Во сне дедушка был очень похож на Баббо Натале с картинки, он ласково гладил Персону по голове, протягивал ей большой рождественский пряник, и, называя ее странным именем Мария, горько плакал и почему-то все время просил прощения.

pazienza!”. I nuovi genitori di Persona, tornati sereni e felici, la presero per mano da entrambi i lati e la condussero fuori.

Già dopo un'ora il nuovo genitore № 2 le leggeva ad alta voce un libro fortemente raccomandato dal ministero della tolleranza per i cittadini di età compresa tra i 4 e i 6 anni. “E allora i pinguini-gay” disse con un gridolino scorrendo il dito lungo le righe del libro “che volevano tanto avere dei figli ma non potevano per via delle particolarità fisiologiche, adottarono l'uovo di pinguino trovato per strada...”. Stringendosi sotto la coperta, Persona piagnucolava: la sua anima era arsa da un'amarezza fino ad allora sconosciuta, l'amarezza del distacco dalla mamma e dal papà e ancora da qualcos'altro di sconosciuto e strano, come una nostalgia intollerabile per il nonno, quel nonno che non aveva mai visto né conosciuto...

... In sogno il nonno somigliava molto al Babbo Natale delle illustrazioni; la accarezzava teneramente sulla testa, le tendeva un grande biscotto di Natale e, chiamandola con lo strano nome di Marija, piangeva amaramente, chiedendole, chissà perché, perdono per tutto il tempo.

Отзыв о рассказе

«Что с нами происходит?» – вопрос, заданный в свое время Василием Макаровичем Шукшиным, вызвал оживленную реакцию писателей, публицистов, социологов, всех тех, кто был озабочен духовно–нравственным состоянием позднего советского общества. Подобного рода вопросы сокрыты и в подтексте рассказа «Письмо», автор которого в уже иной исторической и социальной ситуации как бы адресует их в особой художественной форме современникам глобализирующейся цивилизации. Во всеобъемлемости унифицирующих тенденций этой цивилизации стираются границы не только между континентами, государствами и странами, но и в иерархии ценностей. Эпоха глобальных трансформаций, информационных, биологических и иных революций, повсеместного распространения компьютерных технологий, массовой культуры и т.п. имеет оборотную сторону, по–своему воздействует на поведение и психику человека, на изменение его личностных особенностей.

Творческое внимание Елены Тархановой обращено к современным проблемам, которые вызывают острые дискуссии в обществе, порою выливающиеся в уличные манифестации. Используя приемы иронии, сатиры и гротеска, она раскрывает отдельные парадоксы глобалистической цивилизации, в которой подвергаются серьезным испытаниям традиционные идеалы, многовековая культура, семейные узы, родственные связи, простые человеческие чувства, сама человеческая природа. По гиперболизированной художественной логике рассказа, гуманистическое содержание понятий прав человека, толерантности, политкорректности или ювенальной юстиции при непреобразованной и непросветленной человеческой природе может оборачиваться неожиданными метаморфозами и непредвиденными эксцессами. Подобно тому, как в историческом процессе человеколюбивые призывы к свободе, равенству и братству вели иной раз к новым видам несвободы и несправия.

Автор «Письма» ставит вопросы и не дает ответов, которые предстоит искать нам, читателям.

Борис Тарасов

Nota critica

“Che ci sta succedendo?”. Posta a suo tempo da Vasilij Makarovič Šuškin, questa domanda sollevò un’animata reazione da parte di scrittori, pubblicisti, sociologi e di tutti quelli che si occupavano della condizione spirituale e morale della società tardo-socialista. Domande di questo genere si celano anche tra le righe del racconto *La lettera*, l’autrice del quale, in una situazione storica e sociale diversa e attraverso una particolare forma artistica, sembra a sua volta rivolgerle ai contemporanei di una civiltà sempre più globalizzata. Nell’insieme delle tendenze unificanti di questa civiltà si perdono in misura più o meno significativa le peculiarità della varietà religiosa, culturale, etnonazionale dei diversi popoli, giudicate a volte come “modello” uscente e freno al progresso.

Si cancellano i confini non solo tra i continenti, gli stati, i paesi, ma anche all’interno della gerarchia dei valori. L’epoca delle trasformazioni globali, delle rivoluzioni informatiche, biologiche o di altro tipo, della diffusione capillare del computer, della cultura di massa ecc. ha un rovescio della medaglia: a suo modo influisce sul comportamento e sulla psiche dell’individuo, sul cambiamento delle sue particolarità individuali.

L’attenzione artistica di Elena Tarchanova è rivolta ai problemi della contemporaneità, quelli che suscitano accese discussioni all’interno della società tanto da scaturire talvolta in manifestazioni di piazza. Attraverso gli artifici dell’ironia, della satira e del grottesco, l’autrice svela singoli paradossi della civiltà globalizzata, nella quale gli ideali tradizionali, la cultura secolare, i legami familiari, i semplici sentimenti umani e la stessa natura umana sono esposti a serie minacce. Attraverso l’iperbolizzata logica artistica del racconto, il contenuto umano dei concetti di diritto, tolleranza, “politicamente corretto”, o giustizia minorile possono trasformarsi a seguito di inaspettate metamorfosi ed eccessi imprevisi. Come del resto nel processo storico gli inviti filantropici alla libertà, all’uguaglianza e alla fratellanza hanno portato ancora una volta a nuove specie di schiavitù e ingiustizia. L’autrice della *Lettera* pone soltanto le domande: sta a noi lettori trovare le risposte.

Boris Tarasov

Биография

Елена Тарханова. Родилась в 1979 г. в уральском городе Лысьва, в семье журналистов и работников культуры. Получила высшее образование в Пермском Институте Культуры, режиссерский факультет. С 2003 г. работала журналистом в российских региональных СМИ. В 2010 г. переехала на постоянное место жительства в Италию. Публикаций в качестве «молодого писателя» не имеет, ведет блог в ЖЖ. В ближайших планах – дописать и опубликовать первую книгу.

Biografia

Elena Tarchanova è nata nel 1979 a Lys'va, una città degli Urali, in una famiglia di giornalisti e intellettuali. Ha studiato regia al Permskij Institut Kul'tury. Dal 2003 ha lavorato come giornalista per i media regionali russi. Nel 2010 si è trasferita in Italia. Non ha ancora pubblicazioni come giovane scrittrice, ma tiene un blog su LiveJournal. Tra i suoi progetti: finire di scrivere e pubblicare il suo primo libro.

Дмитрий Филиппов

Перевод Марии Розарии Карроццо

Dmitrij Filippov

Traduzione in italiano di Maria Rosaria Carrozzo



МАДОННА

Ее окрестили Васькой. В дребезжащей «газели» крепкий, коротко стриженный парень спросил:

– Звать тебя как?

– Ась?

– Дура, имя назови. – Свинячьи глазки забегали.

– Ась??

Так и прилипло – Васька.

Маленький рост, сутулые плечи, впалая грудь... Грязные прямые волосы собраны в конский хвост дешевой резинкой. Все такое хиленькое, корявенькое, убогое – то, что нужно. Возраст неопределенно-брезгливый: от шестнадцати до сорока. Близко посаженные глаза, хитрая улыбка.

Купили ее дешево, не торгуясь. Продавал то ли отец, то ли дядя, грустный и спившийся. – Она не совсем идиотка, все понимает, читать умеет немного... Вы там с ней... – Он не договорил, сглотнул и отвернулся.

– Не ссы, все пучком, – ответил крепыш.

Ящик водки поставили у печи. Васька не выла, не упиралась, покорно села в машину. То ли дядя, то ли отец вышел было в сени проводить, но потом махнул рукой, вернулся в дом.

«Газель» долго ехала по шоссе, потом по вечернему городу, петляла, поворачивала. Мускулистый парень больше не заговаривал с Васькой, играл в какую-то игру на мобильном. Остановилась машина в промзоне, возле длинного ряда кооперативных гаражей. Один из них был приоткрыт, из дыры вываливался свет, покрывая грязной позолотой мартовскую слякоть.

Водитель опустил боковое стекло:

– Принимайте.

LA MADONNA

L'avevano battezzata Vas'ka. In una GAZelle¹ tintinnante, un giovane robusto e dai capelli corti chiese:

“Com'è che ti chiami?”.

“Eeh?”.

“Cretina, il tuo nome”. Gli occhi porcini si mossero di qua e di là.

“Eeh??”.

Così le affibbiarono Vas'ka.

Bassina, spalle curve, torace infossato Capelli sporchi e lunghi, raccolti in una coda di cavallo con un elastico da quattro soldi. Tutto in lei era così gracile, brutto, misero: proprio quello che ci voleva. Non era possibile definire la sua età: poteva avere tanto sedici quanto quarant'anni. Occhi ravvicinati e sorriso furbastro.

La comprarono a poco, senza contrattare. Chi l'aveva venduta poteva essere o suo padre o suo zio, un uomo triste e ormai alcolizzato.

“Non è completamente idiota, capisce tutto e sa leggere un poco... Ci potete fare...”. Non terminò, deglutì e si voltò.

“Tranquillo, tutto a posto” rispose il tracagnotto.

La cassa di vodka la misero vicino alla stufa. Vas'ka non strillò, né si impuntò, ma rassegnata si andò a sedere in macchina. Lo zio o il padre fece per accompagnarla fino all'ingresso, ma poi lasciò perdere e tornò in casa.

La GAZelle aveva camminato a lungo prima per la strada, poi per la città immersa nel buio della sera, aveva zigzagato, aveva svoltato. Il ragazzo muscoloso non si era perso più in chiacchiere con Vas'ka, aveva giocato con il suo cellulare. La macchina si fermò nella zona industriale, accanto a

¹ Nome di una serie di furgoni prodotti in Russia dal 1994 al 2010. (N.d.T.)

Из гаража вышел щуплый мужик. Цепко глянул сначала на водителя, потом на Ваську, произнес:

- П....ц-холодец.

- То, что надо, - причмокнул водитель.

- Куда ее?

- Пусть потусуетя пару дней, привыкнет. Потом «мадонной» будет, на синей ветке. Между «Фрунзенской» и «Удельной».

- Там цыгане работают.

- Ничего, решим.

Мужик сомневался, суетливо закурил.

- Ты определи ее пока, - продолжил водитель, - накорми там, объясни. С народом познакомь.

- Ага... П....ц-холодец.

- Не нравится что-то?

- У нас мир с цыганами...

- Я сказал, решим.

Оба помолчали. Мужик мялся.

- Еще что-то?

- Ей «реквизит» нужен.

- Будет ей «реквизит».

Водитель сплюнул, поднял стекло и уехал. Мужик поманил Ваську пальцем:

- Меня зовут Колян. Жить будешь в Берлоге. Делать будешь, что я скажу. Поняла?

- Ась?

Колян отвесил ей ленивую пощечину.

- Поняла.

Берлога - это три стоящих вплотную гаража с выдолбленным внутренним проходом. Вдоль стен стоят кровати, инвалидные коляски, деревянные каталки. В каждом - газовая буржуйка. В крайнем гараже оборудована кухня: столы, раковина, газовая плита.

una lunga fila di garage. Uno era un po' aperto; dalla fessura usciva della luce che ricopriva la fanghiglia di marzo di una doratura sporca.

L'autista abbassò il finestrino:

“Apriteci”.

Dal garage uscì un uomo gracile. Guardò fisso prima il conducente, poi Vask'ka, e disse:

“C...”.

“È quello che ci serve” e l'autista schioccò le labbra.

“Dove la metto?”.

“Che resti un paio di giorni, che si abitui. Poi farà da ‘madonna’ sulla linea blu della metro, tra la ‘Frunzenskaja’ e la ‘Udel'naja’”.

“Lì ci lavorano gli zingari”.

“Non fa niente, poi si vedrà”.

L'uomo non era convinto, iniziò a fumare irrequieto.

“Tu ora sistemala” continuò l'autista. “Sfamala e spiegale un po' di cose. Falla conoscere agli altri”.

“Ah, c...”.

“Qualcosa non ti sta bene?”.

“Noi siamo in pace con gli zingari...”.

“Ti ho detto che poi vediamo”.

Entrambi tacquero. L'uomo titubava.

“C'è dell'altro?”.

“Ha bisogno di un *requisito*”.

“Ce l'avrà”.

L'autista sputò, alzò il finestrino e se ne andò. L'uomo chiamò Vas'ka con un dito:

“Mi chiamo Koljan. Vivrai nella Tana. Farai ciò che io ti dico. Hai capito?”.

“Eh?”.

Koljan le assestò un pigro schiaffo.

“Hai capito”.

La Tana era formata da tre garage contigui, con un passaggio interno ricavato a scalpellate. Lungo

Там же в углу стоит синяя кабинка биотуалета. Лампочки светят тускло и настороженно. Кровати пусты – после работы люди сидят на кухне, пьют водку, играют в карты, смотрят телевизор. Калеки в военной форме без рук, без ног; один горбун; старушка с пустым лицом сидит в углу, смотрит в одну точку и беззвучно шевелит влажным ртом. Колян подошел к плите, по-хозяйски снял крышку с кастрюли, навалил полную тарелку макарон, скупно выдавил майонез из пакета, кинул сморщенную сосиску.

– Ешь.

Васька с жадностью набросилась на еду. В гараже замолчали, с любопытством уставились на новенькую.

– «Мадонна»? – махнул обрубком «ветеран».

Колян кивнул.

– Целка? – калека ослабился.

– Не знаю, сам проверяй. – Колян отвернулся.

Девушка заулыбалась с полным ртом, роняя куски макарон на пол.

– Ничего, проверим.

«Ветеран» приковылял к ней в первую же ночь, завалился на койку, прижал Ваську к стене, зашептал в ухо жарко и тяжело:

– Давай, давай, сама... Тяжело же, б...., с одной рукой...

Два дня пролетели незаметно. С утра людей забирала та же «газель», отвозила к метро. Вечером привозила обратно. Колян объяснил Ваське ее работу – все было понятно, ничего сложного. Ночью к ней ходили «ветераны». По-очереди. Васька никому не отказывала. Ей нравилась в Берлоге.

«Ветеранов» было четверо: Медный, Грым, Поплавок и Сергей. Самым нелюдимым был Сергей, сухопарый мужик за сорок. Его так и называли по имени, без кличек, без сокращений и прикрас. Просто Сергей. Он был похож на человека, сидящего под непрекращающимся дождем. Сидит он день, год, вечность; мокнет, но не может уйти. Еще он был единственным настоящим ветераном. В августе 1991-го – ему, молодому лейтенанту, командиру экипажа танка Т-80 – мельком пожимал руку Ельцин,

le pareti c'erano letti, sedie a rotelle e lettighe in legno. Ogni garage aveva una stufa a gas. Nell'ultimo c'era una cucina attrezzata: dei tavoli, un lavandino e un fornello a gas. In un angolo c'era una cabina azzurra: la toilette biologica. Le lampadine emanavano una luce pallida e timorosa. I letti erano vuoti: dopo il lavoro, le persone stavano in cucina, bevevano vodka, giocavano a carte, guardavano la televisione. C'erano degli storpi in divisa militare senza mani, senza gambe; un gobbo; una vecchia con un'espressione vacua stava seduta in un angolo e guardava fisso un punto, muovendo silenziosamente la bocca umidiccia.

Koljan si avvicinò al fornello, con fare da padrone tolse il coperchio dalla pentola, preparò un piatto pieno di pasta, ci spremette un'avara dose di maionese da una busta e ci buttò su una salsiccia grinzosa.

“Mangia”.

Vas'ka si avventò ingorda sul cibo. Nel garage si fece silenzio, fissavano curiosi la novellina.

“Una ‘madonna’?” fece un “veterano” agitando il moncherino.

Koljan annuì.

“È vergine?” chiese lo storpio con un largo sorriso.

“Non lo so, controlla tu stesso” ribatté Koljan.

La ragazza fece un sorriso con la bocca piena, lasciando cadere pezzi di pasta sul pavimento.

“Fa niente, controlleremo”.

Il “veterano” arrancò verso di lei quella stessa notte, si sdraiò sulla branda, schiacciò Vas'ka contro il muro, mormorandole nell'orecchio con un respiro caldo e pesante:

“Dai, dai, fallo tu... È difficile, c..., con una mano...”.

Due giorni volarono senza neanche accorgersene. La mattina sempre la stessa GAZelle prelevava le persone e le portava alla metro. La sera li riportava indietro. Koljan spiegò a Vas'ka il suo lavoro; tutto era chiaro, non c'era niente di complicato. Di notte i “veterani” andavano da lei. In fila. Vas'ka non rifiutava nessuno. Le piaceva stare nella Tana.

I “veterani” erano quattro: Mednyj, Grym, Poplavok e Sergej. Il più asociale era Sergej, un uomo magro, sulla quarantina. Lo chiamavano per nome, senza soprannomi, abbreviazioni o nomignoli. Sergej semplicemente. Era simile a una persona seduta sotto a una pioggia incessante. Sta lì un

взбираясь на нагретую солнцем броню. Сергей запомнил это рукопожатие: крепкое, рабоче-крестьянское. Новый вождь громогласно вещал о свободе и демократии, и люди на площади внимали каждому его слову, и сам Сергей вслушивался со страхом и восторгом. На следующий день ГКЧП отозвал войска из столицы. Через четыре года танк Сергея подорвался на mine по дороге к поселку Ца-Ведено. Осколки разрезали днище, искромсали все внутри, отсекли обе ноги и руку. Ни царапины не было на правой, той самой, что пожимал Ельцин.

Раз в месяц у Сергея начинался припадок. Он орал, бился в истерике, пытаясь ударить, укусить любого, кто подвернется, до кого хватит сил дотянуться. В такой день Колян привязывал его к кровати, колол лошадиную дозу успокоительного. Сергей тревожно засыпал до утра.

Медный попал под поезд по пьяни. Отсекло ногу и руку с левой стороны. Это он распечатал Ваську в первую ночь. Грыму отрубили руку в тюрьме за воровство. Поплавок провалился под лед на зимней рыбалке. Весь день полз до поселка. Почерневшие ноги ампутировали. Эти трое были на одно лицо: мягкое, вялое, лоснящееся от пьянства. Их жизни были взяты у черта в кредит, и люди просто платили по счету. С процентами. Горбуна звали Алик. Самый юный, маленький и вертлявый. Что-то кошачье было в его круглом лице. В Берлоге за ним закрепились роль шута. «Ветераны» стебали его, но как-то беззлобно, по-отечески. Да он и сам принимал правила спонтанной игры.

– Алик, не сутулься, – начинал Грым.

– Отвянь.

– Квазимода ты е...й

– Усохни, калеч! – огрызался он ломающимся голосом.

– А теперь Горбатый. Я сказал, Горбатый...

Старуха являлась элементом мебели. Каждый вечер она сидела на одном месте, уставившись в стену. Ее никто не трогал. Она ни с кем не заговаривала. Ей было вечно холодно, она заворачивалась в ворох свитеров и беззвучно шептала, шептала... И никто не понимал, ворожит она или прокликает, предсказывает или заговаривается в сумасшедшем бреде.

giorno, un anno, un'eternità; si bagna, ma non riesce ad andarsene. Inoltre era l'unico autentico veterano. Nell'agosto del 1991, quando era un giovane tenente, comandante dell'equipaggio di un carro armato T-80, El'tsin gli aveva stretto di sfuggita la mano mentre saliva sulla corazzata riscaldata dal sole. Sergej aveva sempre conservato nella mente quella stretta di mano: forte, da operaio e contadino. Il nuovo capo aveva parlato a gran voce di libertà e democrazia, e le persone in piazza erano state attente a ogni singola sua parola; lo stesso Sergej aveva ascoltato con paura ed estasi. Il giorno dopo il GKČP² richiamò l'esercito dalla capitale. Dopo quattro anni il carro armato di Sergej saltò in aria su una mina lungo la strada verso il villaggio di Tsa-Vedeno. I frammenti tagliarono il fondo, rovinarono tutto all'interno; a Sergej mozzarono entrambe le gambe e una mano. Neanche un graffio, però, alla mano destra, la stessa che aveva stretto El'tsin.

Una volta al mese Sergej aveva una crisi: strillava, in preda a un attacco isterico, cercando di colpire e mordere qualsiasi persona gli capitasse davanti, a cui le forze gli consentissero di arrivare. Quel giorno Koljan lo legava al letto e lo sedava con una dose da cavallo. Così Sergej si addormentava in stato di agitazione fino al mattino successivo.

Mednyj era finito sotto un treno da ubriaco. Gli erano state mozzate la gamba e la mano sinistre. Fu lui a sverginare Vas'ka la prima notte. A Grym gli avevano tagliato una mano in galera per furto. Poplavok era caduto sotto il ghiaccio durante la pesca invernale. Tutto il giorno era andato strisciando fino al villaggio. Gli amputarono le gambe divenute nere. Questi tre avevano lo stesso aspetto: molle, indolente, consunto dall'alcol. Le loro vite erano prese a credito dal diavolo e loro ne pagavano semplicemente il conto. Con gli interessi.

Il gobbo si chiamava Alik. Il più giovane, il più piccolo e il più irrequieto. C'era qualcosa di gattesco sul suo volto rotondo. Nella Tana lui era ormai il pagliaccio di turno. I "veterani" lo prendevano in giro, ma in un certo modo senza cattiveria, quasi da padri. E infatti lui stesso accettava le regole di questo gioco spontaneo.

"Alik, non ti curvare" iniziava Grym.

²Comitato Statale per la Situazione di Emergenza (18-22 agosto 1991). (N.d.T.)

Про Коляна вообще никто ничего не знал. Иногда он пропадал на несколько дней, вместо него оставался крепыш с пороссячьими глазками, тот самый, что ехал вместе с Васькой в «газели». Колян был мамкой, отцом и Богом. Пересчитывал выручку, готовил еду, ходил в магазин, опорожнял бак в сортире, заливал туда новую жидкость, раз в неделю отвозил людей в баню. Казалось, он был всегда: порождение Берлоги, ее любимый сын. Не будет его, и Берлога умрет, провалится потолок, рухнут стены, земля разверзнется и проглотит это королевство кривых.

Водитель никогда не заходил в Берлогу. Даже из машины не выходил. А спроси любого, как он выглядит, никто не сказал бы ничего внятного. Внешность его расплывалась, не утрамбовывалась в памяти. Он был призраком, приезжающим по расписанию.

За два дня Васька освоилась, стала частью Берлоги. Прошлая жизнь покрывалась коркой, не тревожила, не звала обратно. Время здесь текло по иным законам; часы растягивались, шли за месяцы. Три стоящих рядом гаража стали Васькиным домом, верным и единственным. Она пропиталась его запахом, выросла не душой – глубинным стержнем. Она вернулась в него, как блудная дочь после долгих лет скитания, почувствовала себя на своем месте и успокоилась.

А на третий день привезли «реквизит».

Человеческий комочек, грудничок, месяцев шесть. Закутанный в пеленки и одеяла, он воспаленно спал. Колян уверенно распеленал его, произнес: «Пацан!», затем протер влажной салфеткой. Васька наклонилась над сморщенным красноватым тельцем, и в нос ей ударил кислый детский запах. Как на диковинную игрушку, глядела она на младенца, как тот медленно дышит полуоткрытым ртом, как шевелятся во сне трепетные пальчики.

– Короче, все просто, – говорил Колян. – Вот бутылочка с молоком. Бодяжишь на стопку водки – больше не надо. Кормишь один раз с утра, а потом, как проснется. Вечером меняешь пеленки, протираешь его, чтобы не вонял. Вот салфетки.

– Зачем водка?

– П...ц-холодец... Он у тебя орать будет, как резаный. А так заснет себе спокойно.

“Lasciami in pace”.

“Sei un f... Quasimodo...”.

“Che ti venga..., brutto storpio!” ringhiava lui con la voce rotta.

“E adesso fuori il Gobbo. Ho detto il Gobbo...”.

La vecchia era un elemento dell'arredamento. Ogni sera stava seduta allo stesso posto e fissava la parete. Nessuno la toccava. Lei non parlava con nessuno. Aveva costantemente freddo, si avvolgeva in un sacco di maglioni e in silenzio sussurrava e sussurrava... Nessuno capiva se strologasse o maledicesse, se facesse profezie o vaneggiasse in preda alla pazzia.

Di Koljan nessuno sapeva niente. Ogni tanto spariva per qualche giorno, al suo posto rimaneva il tracagnotto con gli occhietti porcini, lo stesso che stava con Vas'ka nella GAZelle. Koljan era la mamma, il padre e Dio. Contava l'incasso, preparava da mangiare, andava a fare la spesa, svuotava il recipiente nel cesso e ci versava del nuovo liquido, una volta a settimana portava le persone alla sauna. Sembrava che fosse sempre esistito: era il prodotto della Tana, il suo figlio prediletto. Quando non ci sarebbe più stato, anche la Tana sarebbe morta, il soffitto sarebbe crollato, insieme alle pareti, la terra si sarebbe aperta e avrebbe inghiottito quel regno di storpi.

L'autista non passava mai dalla Tana. Non scendeva neanche dalla macchina. Nessuno avrebbe saputo dire che aspetto avesse, a chiunque aveste posto la domanda. La sua esterità si faceva vaga, non si consolidava nella memoria. Era un fantasma che arrivava in orario.

In due giorni Vas'ka aveva familiarizzato, era diventata parte della Tana. La vita passata era stata coperta da una crosta, non la infastidiva né la richiamava indietro. Il tempo qui scorreva secondo altre leggi; le ore si dilatavano, confluivano nei mesi. I tre garage vicini erano diventati la casa di Vas'ka, sicura e unica. Lei stessa era impregnata del loro odore, ci si era radicata non col cuore, ma col suo più profondo fulcro. Vi era tornata come fa una figlia prodiga dopo lunghi anni di peregrinazione, si era sentita al suo posto e si era tranquillizzata.

Il terzo giorno portarono il *requisito*.

Un batuffolo umano, un poppante di circa sei mesi. Infagottato in pannolini e coperte, dormiva infiammato in viso. Con sicurezza, Koljan lo liberò dalle fasce, e disse: “È un maschio!”, dopo di che gli strofinò una salvietta umida. Vas'ka si chinò sul corpicino grinzoso, e fu colpita al naso

Через месяц он привыкнет, тогда увеличишь дозу. Но это потом. И вообще, аккуратней с ним, чтобы хватило месяца на четыре...

Колян оборвал фразу, не произнося главного.

– А потом?

Мужчина внимательно посмотрел на Ваську, остро, вспарывая до души, и внятно произнес:

– Суп с котом.

Так Васька стала «мадонной».

Воздух в метро был сухим, теплым и мертвым. Он пах глубиной и унынием. Васька спускалась по эскалатору, прижимая к груди спящего ребенка, и с первых же шагов улавливала стройный, суетливый ритм, погружалась в него, и время бежало быстрее.

– Люди добрые–е–е... Пода–а–айте на пропитание–е–е... Христа ради–и–и...

С утра подавали мало и неохотно. К обеду люди просыпались, становились добрее и мягче. Вечером мелочь текла обильно, звенела музыкой в полиэтиленовом пакете. Васька научилась выхватывать взглядом потенциальных клиентов. Что–то в выражении глаз, в повороте головы опознавалось, как маяк. Васька замедляла шаг возле таких людей, интонации в голосе становились надрывнее, слова напивались тоской, густели. Пара червонцев, а то и сторублевка летели в раскрытый пакет.

Чаще всего подавали выпившие работяги и семейные женщины; даже без детей, без мужа угадывалось: семейные. У них взгляд был мудрый и обреченный. С каким–то злобным удовлетворением Васька замечала: ее боятся, поджимают ноги, чтобы не коснуться, отворачиваются, не пускают в свой мир.

К двум часам все собирались на «Проспекте Просвещения». Васька и Алик в два захода поднимали ветеранов, на выходе их ждал крепыш, и они шли к припаркованной во дворах «газели». С наслаждением курили, обедали, закидывали по стакану водки. Выручку за полдня оставляли водителю. Разговаривали мало.

– Много сегодня?

– Обычно. Всем по х.. на ветеранов.

dall'odore acido di bambino. Fissava il piccolo come uno strano giocattolo, il modo in cui lentamente respirava con la bocca semiaperta e agitava nel sonno i ditini tremolanti.

“A farla breve, è tutto molto semplice” disse Koljan. “Questa è la bottigliina con il latte. Mischialo con un bicchierino di vodka, non di più. Dagli da mangiare una volta la mattina, poi appena si sveglia. La sera gli cambi i pannolini e lo pulisci per non farlo puzzare. Queste sono le salviette.

“Perché la vodka?”.

“C... Strillerà come se lo stessero facendo a pezzi. Così invece si addormenterà tranquillo. Tra un mese si abituerà, allora tu aumenta la dose. Ma questo viene dopo. In generale, trattalo bene, che duri un quattro mesi”.

Koljan non continuò la frase, tralasciando la parte fondamentale.

“E poi?”.

L'uomo guardò attentamente Vas'ka, con sguardo acuminato, che penetrava tagliente fino all'anima, e in modo chiaro pronunciò:

“E poi... falla cotta come vuoi”.

E così Vas'ka divenne una “madonna”.

L'aria nella metro era secca, calda e morta. Sapeva di profondità e sconforto. Vas'ka scendeva per le scale mobili, stringendo al petto il bambino che dormiva, e fin dai primi passi coglieva il ritmo armonioso, irrequieto, sprofondandovi, e il tempo correva veloce.

“Buoni cristianiiii... Daaate qualcosa per mangiareee... Per amor di Diooo...”.

Di mattina davano pochi soldi e di malavoglia. Verso pranzo le persone si svegliavano, diventavano più buone e malleabili. Di sera gli spiccioli arrivavano in abbondanza, era musica il tintinnio che faceva nel sacchetto di polietilene. Vas'ka imparò a captare dallo sguardo potenziali clienti. Qualcosa nell'espressione degli occhi, nel movimento della testa li identificava, come un faro. Vas'ka rallentava il passo accanto a queste persone, usava una nota più straziante nella voce, le parole si impregnavano di angoscia, si addensavano. Un paio di banconote, e talvolta perfino un centone volavano nel sacchetto aperto.

Il più delle volte a fare l'elemosina erano i gran lavoratori ubriachi e le madri di famiglia; queste ultime erano riconoscibili perfino senza figli o marito. Il loro sguardo era saggio e incurabile. Con

– Зато Васька всегда в шоколаде... Смотри, не обляпайся.

Васька зарабатывала в день от трех до пяти тысяч. И это без особого напряжения. Она чувствовала на интуитивном уровне, что люди подают не из жалости, скорее с облегчением, любуясь собственным жестом. А еще они чувствуют фальшь в голосе. Поэтому Васька перестала надрывно подвывать, а просто заходила в вагон, несколько секунд стояла, оглядывая пассажиров, и молча шла вперед, внушительная в своей униженности, держа в одной руке ребенка, а в другой полиэтиленовый пакет.

Есть что-то ущербное в пассажирах метро, жалкое и вторичное. Люди могут весь день работать, куда-то спешить, решать проблемы, назначать встречи, но в вагоне метро некуда торопиться. Душа выталкивает к глазам тоскливое осознание ничтожности жизни. От него не скрыться, не убежать, не отгородиться газетой-кроссвордом-ридером. Самые честные смотрят прямо перед собой; мудрые – не спускаются в метро без алкоголя. Сначала ребенок орал по ночам, выплевывал отравленное молоко, повинуюсь древнему инстинкту самосохранения. Никто не мог его успокоить, он заходился в истерике, задышался от собственных слез. Васька качала его на руках, злобно шипела колыбельную, закрывала ему рот рукой.

Медный кричал, проснувшись:

– Заткни своего хоббита, дай ему похмелиться...

Потом ребенок привык. Все привыкают. Жадно ловил губами соску, пьяно улыбался.

Прошел месяц. Однажды к Ваське привязалась молодая женщина. Она сначала долго смотрела таким странным взглядом – смесь догадки и отвращения, – потом перешла за Васькой в следующий вагон, все так же продолжая смотреть. На выходе женщина схватила Ваську за руку.

– Почему он спит?

– Ась?

– Почему ребенок спит? Я каждый день тебя вижу. Он постоянно спит... Это твой ребенок?

Васька вырвалась, торопливо зашагала по платформе, но женщина не отставала.

malvagia soddisfazione Vas'ka notava che la temevano, stringevano le gambe per non sfiorarla, si voltavano, non la lasciavano entrare nel loro mondo.

Per le due tutti si raccoglievano sulla Prospekt Prosveščeniya. Vas'ka e Alik raccoglievano in due soste i veterani: li aspettava fuori il tracagnotto mentre loro si dirigevano verso la GAZelle parcheggiata nei cortili. Fumavano, pranzavano, si scolavano un bicchiere di vodka con grande piacere. Lasciavano il ricavato di mezza giornata all'autista. Parlavano poco.

“Quanto oggi?”.

“Come al solito. Dei veterani non se ne f... nessuno”.

“Però Vas'ka ci va sempre bene. Stai attenta a non combinare guai”.

Vas'ka guadagnava dai tre ai cinquemila rubli al giorno. E senza neanche troppo sforzo. Intuiva che le persone non davano i soldi per pietà, ma più per il conforto derivante dalla propria buona azione. In più esse avvertivano l'inganno nella voce. Perciò Vas'ka smise di emanare lamenti strazianti, entrava solo nel vagone, stava ferma qualche secondo guardando i passeggeri intorno, e in silenzio avanzava, convincente nel suo aspetto umile, tenendo su un braccio il bambino e nell'altra mano il sacchetto di polietilene.

C'è un che di decadente, pietoso e accessorio nei passeggeri della metro. Le persone possono lavorare tutto il giorno, affrettarsi per arrivare da qualche parte, risolvere problemi, fissare appuntamenti, ma nel vagone della metropolitana non hanno fretta. La loro anima rivela attraverso gli occhi la triste consapevolezza della nullità della vita. Da essa non ci si può nascondere, non si può fuggire, né tantomeno isolarsi con giornali, cruciverba ed e-book. I più onesti guardano dritto davanti a sé; i saggi non scendono nella metropolitana senza dell'alcol.

All'inizio il bambino strillava di notte, sputava il latte intossicato, ubbidendo all'istinto primordiale di autoconservazione. Nessuno riusciva a calmarlo, diventava isterico, soffocava nelle sue stesse lacrime. Vas'ka lo cullava tra le braccia sussurrandogli rabbiosamente una ninnananna, gli chiudevava la bocca con la mano. Mednyj si svegliava e urlava:

“Tappa il tuo hobbit, dagli ancora da bere per smaltire la sbornia...”.

Successivamente il bambino si abituò. Tutti si abituarono. Afferrava avidamente il biberon con le labbra, faceva sorrisi da ubriaco.

- Э-э-э... Ну-ка стой! Люди! У нее чужой ребенок.

Народ оборачивался, но никто не остановился. Молодая женщина догнала Ваську, порывисто вцепилась в нее, чтобы больше не отпустить.

- Дрянь ты... Дрянь... Милиция!

И тут у Васьки закружилась голова. Мир начал расплываться перед глазами, потускнел, зашатался, ничего не осталось, кроме набухшего яростью лица. Это лицо нависало над Васькой, готовое покарать, раздавить, уничтожить, вытрясти остатки души. Звуки стали медленными и тягучими, и Васька почувствовала, как проваливается в бездонную яму, летит, летит, горькая пустота подкатывает к горлу...

Ее вырвало. Прямо на молодую женщину.

- Б... - Та отшатнулась, лицо перекосила гримаса отвращения.

Васька пришла в себя, мерзко заулыбалась.

- На х.. пошла, на х.., на х.., - выпалила скороговоркой и, прижимая к груди молчаливое тельце, юркнула в подошедший поезд. Двери захлопнулись за спиной.

Колян оказался прав. Ребенок выдержал четыре месяца. Умер во сне. Васька почувствовала, как он разом отяжелел. Новый «реквизит» искать не стали - у нее самой оформился небольшой животик.

Один раз Колян пошутил:

- Сын полка будет.

- А может дочь? - поддержал Грым.

- Лишь бы не зверушка.

Калеки весело засмеялись. И вдруг повернулась старуха, оторвавшись от созерцания вedomой только ей точки. Она громко произнесла одно слово:

- Зря!

Потом снова отвернулась и больше не заговаривала.

Был в этом выкрике намек на забвение. И от того как старуха запахнулась в свои свитера повеяло предостережением и мерзлотой: страшной, неизбывной, существующей до начала времен. Смех застыл в углах искривленных ртов.

Passò un mese. Una volta una giovane donna si appiccicò a Vas'ka. Inizialmente prese a guardarla a lungo con uno strano sguardo: un misto di congetture e ripugnanza. Poi si spostò seguendola nel vagone successivo, continuando a guardarla sempre allo stesso modo. All'uscita la donna afferrò Vas'ka per una mano.

“Perché lui dorme?”.

“Eeh?”.

“Perché il bambino dorme? Io ti vedo ogni giorno. Lui dorme sempre È tuo?”.

Vas'ka si svincolò, s'incamminò frettolosamente sul marciapiede, ma la donna non si staccava.

“Eeeh... Dai, fermati! Gente! Il bambino non è suo”.

La gente si girava, ma nessuno si fermava. La giovane donna raggiunse Vas'ka, le si aggrappò di slancio per non lasciarla andare oltre.

“Disgraziata... Sei una disgraziata... Polizia!”.

E qui la testa di Vas'ka si mise a girare. Il mondo iniziò ad appannarsi davanti ai suoi occhi, si offuscò, oscillò, non rimase niente, tranne un viso gonfio di furia. Quel viso era sospeso su di lei, pronto a punirla, ad abatterla, ad annientarla, a versare fuori i residui della sua anima. I suoni divennero lenti e monotoni; Vas'ka sentì come se stesse precipitando in una fossa senza fondo. Volava, volava, e un amaro nulla le arrivò alla gola.

Vomitò. Proprio addosso alla giovane donna.

“Brutta p...”. Quella fece un passo indietro, storcendo il viso in una smorfia di disgusto.

Vas'ka tornò in sé, fece un sorriso odioso.

“Vaff..., 'ncu..., 'ncu...” sparò a mitraglietta e, stringendo al petto il corpicino silenzioso, guizzò via nel treno che si era avvicinato. Le porte le si chiusero di scatto dietro la schiena.

Koljan ci aveva visto giusto. Il bambino aveva resistito quattro mesi. Era morto nel sonno. Vas'ka aveva la sensazione che fosse diventato pesante tutto d'un tratto. Non si misero a cercare un nuovo *requisito*: le si era formata una piccola pancia.

Una volta Koljan fece una battuta:

“Sarà il figlio del reggimento”.

“Una figlia no?”. Grym stette al gioco.

Беременность Васьки протекала. Это точное слово. Так протекает вода в кране через подгнившую прокладку. Монотонно, незаметно и раздражающе. «Ветераны» перестали ходить к ней по ночам. Васька погрузнела, разбухла и отекала. Что-то отталкивающее появилось в выражении лица. Новая жизнь, зреющая внутри организма, высасывала все соки. Ваське казалось, что ее обманули, предали, посмеялись над ней.

Ребенка она невзлюбила во время токсикоза, когда целый месяц валялась в Берлоге с позеленевшим лицом, изредка запихивала в себя еду и тут же исторгала ее обратно. Морская болезнь всех женщин. Живот причинял неудобства, Васька стала злой и раздражительной, и от этого только крепла ее ненависть. Не себя – Его травила она водкой и сигаретами, но матка расширялась, жизнь крепла, сопротивлялась и толкала изнутри, оставляя на животе отпечаток маленькой ладони.

К концу девятого месяца Васька успокоилась, смирилась. Вечерами она гладила себя по животу, а в глазах сияли новые искорки, трогательные и обреченные одновременно. В конце декабря умерла старуха. Прямо в метро. Сползла по стене перехода, закрыла в глаза. Через минуту сердце остановилось. А на следующий день у Васьки начались схватки.

Она смотрела «Дом-2» по телевизору, и вдруг что-то сжалось внутри живота и тут же расслабилось, сжалось и расслабилось. Она доковыляла до кровати, испуганная и удивленная, завалилась на бок. Через полчаса лопнул пузырь и отошли воды. Сразу же стало больно. Между ног как будто болт вворачивали.

– Мама-а-аа... Ма-а-амочка-а-а...

Подбежал Колян, все засуетились.

– Рожает, стопудово, – сказал Алик.

– Что делать-то? – подал голос Поплавков.

– А ничего не делать. Пусть сама рожает... Тужься, Васька, все будет ништяк!

Васька тужилась. Орала и тужилась. Еще через полчаса показалась головка, вся в крови и слизи. А потом что-то пошло не так. Васька тужилась, уже не орала, а подвывала по-звериному, на лбу выступили капельки пота, острые пальцы терзали простыню, но

“Basta che non sia una bestiolina”.

Gli storpi si misero a ridere divertiti. Improvvisamente si voltò la vecchia, strappandosi dal suo stato di contemplazione d'un punto noto solo a lei. Ad alta voce pronunciò una sola parola:

“Inutile!”.

Dopo di che si rigirò nuovamente e non parlò più.

In quel grido c'era stata un'allusione all'oblio. E il suo atto di chiudersi nei suoi maglioni emise nell'aria segnali di avvertimento e gelo: un gelo spaventoso, perpetuo, esistente dall'origine dei tempi. La risata si congelò agli angoli delle bocche distorte.

La gravidanza di Vas'ka scorreva. È questa la parola adatta. Come scorre l'acqua dal rubinetto attraverso la guarnizione marcia: monotonamente, impercettibilmente e insopportabilmente. La notte i “veterani” smisero di andare da lei. Vas'ka si era appesantita, gonfiata e ingrossata. Un che di ripugnante era apparso nell'espressione del suo volto. La nuova vita che maturava nel suo organismo le risucchiava tutti i succhi. Vas'ka si sentiva presa in giro, tradita, derisa.

Aveva preso in odio il bambino durante la tossicosi, quando per un intero mese aveva poltrito nella Tana con un viso verdognolo, provando di tanto in tanto a ficcarsi del cibo in bocca e vomitandolo sul momento. Il mal di mare di tutte le donne. La pancia era ingombrante. Vas'ka divenne cattiva e irascibile e il risultato era solo l'accrescersi del suo odio. Non torturava se stessa ma lui, con vodka e sigarette; tuttavia l'utero si dilatava, la vita si rafforzava, si opponeva e spingeva da dentro, lasciando sulla pancia le impronte di un piccolo palmo.

Verso la fine del nono mese, Vas'ka si calmò, si rassegnò. La sera si accarezzava la pancia e negli occhi brillavano nuove scintille, di commozione e di tristezza allo stesso tempo.

Alla fine di febbraio la vecchia morì. Proprio nella metro. Scivolò lungo la parete del passaggio e chiuse gli occhi. Dopo un minuto il cuore si fermò. E il giorno seguente iniziarono le doglie.

Vas'ka stava guardando *Dom-2* in tv e improvvisamente qualcosa dentro la pancia si contrasse e poi si rilassò, si contrasse e si rilassò. Arrivò arrancando al letto, spaventata e sorpresa, e si buttò su un lato. Dopo mezz'ora si ruppero le acque. Iniziò subito il dolore. Era come se in mezzo alle gambe le stessero avvitando un bullone.

“Mamma-a-a-aaa... Mammina-a-a...”.

ребенок больше не выходил, словно раздумал появляться на свет. Калеки расплзлись по углам, Колян нервничал, старался не смотреть на Ваську.

Прошло еще полчаса. Васька глухо хрипела, корчась на продавленной кровати. И тогда раздался голос Сергея:

– Звони водиле, ей в больницу надо.

– Дебил, какая больница?

– Она подышает.

– Насрать.

«Ветеран» вплотную подъехал к Коляну, замахнулся единственной рукой и хлестко, с оттягом ударил в грудь, в солнечное сплетение. Колян отлетел к стене, лицо его скривилось от боли, ноги подогнулись, но он устоял, выдохнул обиженно:

– П...ц–холодец...

– Звони.

Тот уже вытягивал из кармана сотовый.

Водила приехал через час. И это придало Ваське силы, в глазах заплескалась злость. Она снова стала орать, материться и тужиться. Ребенок вышел на пол головы в диковинный морок действительности.

Ваську занесли в «газель», уложили в кресла.

– Я поеду с ней, – сказал Сергей.

Колян закатил и его. Машина тронулась.

Сергей сидел рядом, держал Ваську за руку. Та вцепилась в него побелевшими пальцами, глядела устало, затравленно.

– Давай, девка, давай... Сама. Сможешь. Давай...

Он ничего больше не говорил, только повторял это «давай» с разными интонациями, то подбадривая, то приказывая, то уговаривая. И вдруг без Васькиной помощи, ребенок сам пошел на голос, доверяя ему, зная, что ничего плохого уже никогда не произойдет. Сергей плечом уперся в кресло, а рукой поддержал ребенка, когда тот выполз на поверхность, мокрый, распаренный.

Koljan si avvicinò di corsa. Tutti si misero in moto.

“Sta partorendo, è chiaro” disse Alik.

“Che dobbiamo fare?” diede voce Poplavok.

“Non c’è niente da fare. Lasciala fare da sola... Sforzati, Vas’ka, andrà tutto bene!”.

Vas’ka si sforzava. Strillava e si sforzava. Dopo un’altra mezz’ora comparve la testolina, tutta coperta di sangue e muchi. Ma dopo qualcosa andò storto. Vas’ka si sforzava, non urlava più, ma ululava come una bestia. Sulla fronte spuntarono goccioline di sudore, le dita affilate squarciavano le lenzuola, ma il bambino non usciva più, come se non avesse più voglia di venire al mondo. Gli storpi si sparpagliarono negli angoli; Koljan era nervoso, cercava di non guardare Vas’ka.

Passò ancora mezz’ora. Vas’ka emetteva rantoli sordi, si contorceva sul letto sfondato. Fu allora che echeggiò la voce di Sergej:

“Chiama l’autista, deve andare in ospedale”.

“Ma che dici, stupido?”.

“Sta crepando”.

“Fregatene”.

Il “veterano” si avvicinò a Koljan, alzò l’unica mano e prendendo la mira gli assestò un colpo sferzante al petto, in direzione del plesso solare. Koljan volò fino alla parete, il suo viso si torse dal dolore, le gambe si ripiegarono, ma si resse in piedi, espirando pieno di risentimento:

“C...”.

“Chiama”.

Quello già estraeva dalla tasca il cellulare.

L’autista arrivò dopo un’ora. Ciò permise a Vas’ka di recuperare le forze. Dai suoi occhi iniziava a traboccare rabbia. Iniziò di nuovo a strillare, a imprecare e a sforzarsi. Il bambino uscì con la testa in una realtà per lui tanto sconvolgente, perché estranea.

Vas’ka fu portata nella GAZelle e adagiata sui sediolini.

“Vado con lei” disse Sergej.

Koljan lo spinse. La macchina si mise in moto. Sergej le era seduto accanto, le teneva la mano. Lei gli si aggrappava con le dita bianche, gli rivolgeva uno sguardo stanco, distrutto.

Васька обмякла, расслабилась, счастливая и опустошенная. А «ветеран» захохотал во всю грудь:

– Не зря, мать вашу! Не зря!

Машина шла ровно, и вдруг колеса ее оторвались от земли и сияющая всеми окнами «газель» устремилась вверх. Она поплыла над городом, пугая горластых чаек, благословляя заснеженные крыши домов, устремляясь все выше и выше.

Ребенок выплюнул зеленоватую жидкость... и упала тишина. Такой звонкой и всеобъемлющей тишины не было с самого сотворения мира. Васька взяла младенца на руки, прижала к груди, не обращая внимания на пуповину, Сергей продолжал беззвучно нашептывать: «Не зря, не зря!» Машина проваливалась в фиолетовую яму ночного неба, уменьшалась в размерах, похожая на новую звезду. А город далеко внизу жил своей жизнью, люди торопились домой с работы, ныряли в метро, справляли дни рождения, напивались, блевали, влюблялись, спаривались, заводили машины, жевали роллы и пиццы, не мыли руки после уборной, стояли в очереди, смеялись и плакали, – жили! Глаза у мальчика синие–синие. Взгляд чист, прям и прост. И он уже знает, что стоит ему закричать, как мир рассыплется на куски при первом же звуке, с радостью и облегчением, освобождаясь от смысла.

Младенец медлит и смотрит на мать.

“Dai, ragazza, dai... Ce la farai. Da sola. Dai...”.

Non aggiunse altro, ripeteva solo “dai” con diverse intonazioni: prima la incoraggiava, poi la minacciava, e ancora la consolava. E d’un tratto, senza l’aiuto di Vas’ka, il bambino da solo levò la sua voce, fidandosi di lui, sapendo che non sarebbe più accaduto qualcosa di brutto.

Sergej era appoggiato con le spalle al sediolino e con la mano reggeva il bambino nel momento in cui strisciò fuori, bagnato e infiacchito.

Vas’ka si tranquillizzò, si rilassò, contenta e svuotata. Il “veterano” scoppiò a ridere:

“Non è inutile, che vi possano! Non è inutile!”.

La macchina camminava regolarmente, ma a un certo punto le sue ruote si staccarono da terra e la GAZelle si lanciò su, splendente con tutti i suoi finestrini. Cominciò a navigare sulla città, spaventando i gabbiani dal verso stridulo, beneducendo i tetti innevati delle case, dirigendosi sempre più in alto.

Il bambino sputò un liquido verdastro e ci fu silenzio. Un silenzio così squillante e totalizzante non vi era più stato dalla creazione del mondo. Vas’ka prese il neonato in braccio, lo strinse al petto, senza fare attenzione al cordone ombelicale; Sergej continuava a sussurrare impercettibilmente: “non è inutile, non è inutile!”. La macchina scompariva nella fossa viola del cielo notturno, rimpicciolendo, simile a una nuova stella. Mentre la città lontano, giù viveva la sua vita: le persone si affrettavano a tornare a casa dopo il lavoro, si tuffavano nella metropolitana, festeggiavano compleanni, si ubriacavano, vomitavano, si innamoravano, si accoppiavano, guidavano, mangiavano dolci e pizze, non si lavavano le mani dopo essere andate in bagno, facevano la fila, ridevano e piangevano... vivevano!

Gli occhi del bambino erano azzurri azzurri. Lo sguardo puro, sincero e semplice. Già sapeva che al suo primo grido il mondo si sarebbe sgretolato con gioia e sollievo, liberandosi da ogni significato.

Il neonato indugia e guarda la madre.

Отзыв о рассказе

Рассказ Дм. Филиппова «Мадонна» может показаться не только итальянскому, но и российскому читателю весьма тенденциозным, мрачным, «чернушным» сочинением, однако надуманным его при этом не назовешь. И дело не только в том, что жителям крупных городов в России приходится наблюдать сцены, описанные автором, а изнанка нищенской жизни жестока, грязна и бесчеловечна, дело в том, что есть в этом рассказе какая-то нота, которая лично у меня вызывает доверие и сочувствие. Я верю, что автор написал этот рассказ не ради «черного словца», не для журналистской сенсации и не для спекулятивного таблоида, а потому, что у него отзывчивое сердце и оно действительно болит. Болит, а не имитирует боль.

Герои Филиппова – не отвлеченные ходячие марионетки, они – живые люди, попавшие в беду, точнее в условиях беды живущие по очень страшным правилам. Лишенная какой бы то ни было сентиментальности, психологически очень точная, достоверная, рассказанная словно сквозь зубы питерская «Мадонна» – беспросветна, бесчеловечна, безбожна, но она оставляет своей героине выход к свету. Выход призрачный – кто знает, не ждет ли ее сына участь «реквизита», подобного тем, с кем ходит она по вагонам и просит подаяние, – но короткое «не зря», произнесенное одним из протагонистов, дает надежду, что родившийся в мир ребенок не только уцелеет и спасется сам, но и спасет своих случайных родителей.

Алексей Варламов

Nota critica

Il racconto di Dmitrij Filippov *La madonna* può sembrare, non solo al lettore italiano, ma anche a quello russo, uno scritto molto tendenzioso, tetro, “disfattista”, e nonostante ciò non lo definirei artificioso. Non si tratta solo del fatto che agli abitanti delle grandi città russe tocca osservare le scene descritte dall’autore, così come il rovescio della vita misera fatta di violenza, sudiciume e disumanità; il punto è che in questo racconto c’è una certa nota che, a mio parere, suscita fiducia e compassione. Io credo che l’autore abbia scritto questo racconto non per il puro gusto di turbare il pubblico, né per il sensazionalismo giornalistico o la ricerca di attenzione mediatica, ma perché il suo è un cuore premuroso, che realmente soffre. Soffre, e non imita il dolore.

I protagonisti di Filippov non sono le solite marionette avulse dalla realtà, ma sono persone vere cadute in disgrazia, o meglio che vivono in condizioni di povertà secondo regole davvero terribili. Privata di qualsiasi sentimentalismo, *La madonna* pietroburghese è descritta molto accuratamente dal punto di vista psicologico, è verosimile, raccontata a denti stretti. È oscura, disumana, scandalosa, ma lascia alla sua eroina un’uscita verso la luce. Un’uscita illusoria: chissà se al figlio spetta la sorte del *requisito*, simile a quello con cui va in giro per i vagoni a chiedere l’elemosina. Ma il breve “non è inutile”, pronunciato da uno dei protagonisti, dà la speranza che il bambino venuto al mondo non solo sopravvivrà e salverà se stesso, ma salverà anche i suoi genitori accidentali.

Aleksej Varlamov

Биография

Дмитрий Филиппов. Родился в 1982 г. в городе Кириши Ленинградской области. Окончил филологический факультет Ленинградского государственного университета им. А. С. Пушкина. Работал педагогом–организатором, грузчиком, продавцом, подсобным рабочим, монтажником вентиляции. Служил в армии на территории Чеченской республики. Старший сапер. В настоящий момент работает в студенческом отделе в Ленинградском государственном университете имени А. С. Пушкина. Печатался в литературных журналах «Знамя», «Север», «Волга». В сентябре 2011 г. в издательстве «Геликон плюс» вышел дебютный сборник прозы «Три времени одиночества», номинированный на премию «НОС–2012». Лауреат премии «Альтернативная литература 2012», лонг–лист премии «Дебют» 2012 г. в номинации «малая проза».

Biografia

Dmitrij Filippov è nato nel 1982 a Kiriši, nella Regione di Leningrado. Ha terminato gli studi filologici presso l'Università Statale A.S. Puškin di San Pietroburgo, dove ora lavora presso il dipartimento studentesco. Ha lavorato come pedagogo e organizzatore culturale, scaricatore di porto, commesso, garzone, tecnico di impianti di aerazione. Ha prestato servizio militare nella Repubblica Cecena. Ha scritto per diverse riviste letterarie: “Znamja”, “Sever”, “Volga”. Nel settembre 2011 la casa editrice Gelikon Plus ha pubblicato la sua prima raccolta di opere in prosa, *I tre momenti della solitudine*, che ha ricevuto una *nomination* all'edizione 2012 del premio letterario NOS. Nel 2012 è risultato vincitore del premio Letteratura Alternativa e del premio Debutto per la categoria “Narrativa breve”.

Giovani traduttori italiani
Молодые итальянские переводчики



Francesco Bigo. È nato a Mestre (Venezia) nel 1986, e nel 2012 ha conseguito la laurea magistrale in Lingua e letteratura russa all'Università Ca' Foscari di Venezia. Tra il 2006 e il 2011 ha partecipato a 4 viaggi studio nella Federazione Russa. Nel mese di giugno 2011 ha vinto il primo premio nel concorso letterario internazionale "O mire po-russki", realizzato da "Rossotrudničestvo" e dal "Russkij Mir". Si interessa di cultura russa e letteratura russa, in particolare quella novecentesca, fino alla contemporaneità.

Франческо Биго. Родился в Местре (Венеция) 30 октября 1986 г. В июне 2012 г. окончил Университет «Ка Фоскари» (Венеция) по специальности «Русский язык и литература». В 2006 – 2011 гг. неоднократно стажировался в России. В июне 2011 г. стал лауреатом Первой премии Международного конкурса «О мире по-русски», проводящегося под эгидой «Россотрудничества» и фонда «Русский мир». Интересуется русской культурой и литературой, особенно литературой XX в. и наших дней.



Maria Rosaria Carrozzo. Nata nel 1991 a Torre Annunziata in provincia di Napoli. È iscritta al I anno del corso di laurea magistrale in “Linguistica e traduzione specialistica” presso l’Università degli Studi di Napoli “L’Orientale”. Nel 2012 ha conseguito la laurea triennale in Lingue e letterature straniere discutendo una tesi dal titolo “Tradurre Elena Guro. Passi scelti da *Šarmanka*” in italiano, russo e inglese. Ha lavorato come collaboratrice part-time presso la Biblioteca Europa dell’Università. Nell’ambito degli accordi internazionali che “L’Orientale” ha con altre Università straniere, da marzo a maggio 2012 è stata titolare di una borsa di studio presso l’Università Statale di Tomsk. Al momen-

to è vincitrice di una seconda borsa di studio presso l’Università Statale “Lomonosov” di Mosca.

Мария Розария Карроццо. Родилась 26 февраля 1991 г. в городе Торре Аннунциата, провинция Неаполя. Учится на первом курсе магистратуры в Неаполитанском университете «Л’Ориентале» по специальности «Лингвистика и специальный перевод». В 2012 г. получила диплом бакалавра иностранных языков и литератур, защитив диплом по теме «Переводить Елену Гуро. Выбранные отрывки из «Шарманки» на итальянском, русском и английском». Работала в Университетской Европейской библиотеке. Благодаря международным контактам Университета «Л’Ориентале», с марта по май 2012 г. получала стипендию для обучения в Томском государственном университете. В настоящий момент обучается по стипендии в Московском государственном университете имени М. В. Ломоносова.



Alessandra Moretti è nata a Roma nel 1984. Ha studiato presso l'Università degli studi di Roma "La Sapienza", laureandosi in Traduzione letteraria e tecnico-scientifica nel 2008. È in attesa di sostenere presso la stessa università l'esame finale per il conseguimento del titolo di Dottore di ricerca in Slavistica. Si è occupata in particolare di Futurismo russo e letteratura del primo Novecento, pubblicando alcuni articoli su Velimir Chlebnikov.

Алессандра Моретти родилась в Риме в 1984 г. Окончила Римский университет «Ла Сапьенца» по специальности «Литературный и технический перевод» (2008). Обучается в аспирантуре при кафедре русского языка и литературы того же университета. Сфера ее интересов – русский футуризм и литература начала XX в. Опубликовала ряд статей о Велимире Хлебникове.



Amedeo Pagliaroli (Latina, 1988) si è laureato in Mediazione linguistico-culturale (russo) presso l'Università "La Sapienza" di Roma; ora frequenta l'ultimo anno di laurea magistrale in Scienze della traduzione. Si occupa prevalentemente di letteratura russa dell'emigrazione, tema su cui ha scritto e pubblicato saggi e interventi, a Roma e a Mosca. In questo momento studia presso l'Università Linguistica di Irkutsk.

Амедео Пальяроли (Латина, 1988) окончил Римский университет «Ла Сапьенца» по специальности «Языковой и культурный посредник» (РКИ). Учится на последнем курсе магистратуры по специальности «Переводоведение». Занимается преимущественно литературой русского зарубежья. Написал ряд статей по этой теме, выступал с докладами на конференциях в Риме и Москве. В настоящее время проходит стажировку в Иркутском Государственном лингвистическом университете.



Elisabetta Spediacci (1981) si è laureata a pieni voti presso la facoltà di Lingue e letterature straniere dell'Università di Genova (2007) e la SSLMIT dell'Università di Bologna (2011). Ha studiato alla University of Warwick e alla Moskovskij Gosudarstvennyj Universitet. Per la tesi di specialistica ha tradotto il romanzo di Andrej Rubanov *Chlorofilija*. Ha firmato traduzioni dall'inglese per Mondadori Ragazzi e dal russo per l'Ambasciata d'Italia a Mosca. Attualmente frequenta un corso di specializzazione in traduzione editoriale presso l'Agenzia Formativa tuttoEUROPA di Torino.

Элизабетта Спедиаччи (1981) окончила с отличием Филологический факультет Генуэзского университета (2007) и Высшую школу переводчиков Болонского университета (2011). Обучалась в Уорикском университете и в МГУ им. М. В. Ломоносова. В качестве магистерской дипломной работы представила перевод романа Андрея Рубанова «Хлорифилия». Автор переводов с английского и с русского языков для издательства «Мондадори» и для Посольства Италии в Москве. Учится на курсах художественного перевода в институте Agenzia Formativa tuttoEUROPA (Турин).

INDICE
ОГЛАВЛЕНИЕ

- 4 Associazione Conoscere Eurasia
- 7 Istituto Letterario A.M. Gor'kij
- 9 ALMANACCO LETTERARIO 4
- 10 Antonio Fallico
Presidente dell'Associazione Conoscere Eurasia
- 14 Boris Tarasov
 Rettore dell'Istituto Letterario A.M. Gor'kij
- 18 Premio Letterario Raduga
- 20 Albo d'oro del Premio Raduga
- 26 Giuria italiana
- 29 Giuria russa
- 33 GIOVANI NARRATORI ITALIANI
- 35 Nicola Carboni *Un'immagine riflessa*
Traduzione in russo di Marija Volodina
- 45 Fabio Chiriatti *Mappughje*
Traduzione in russo di Valentina Kučerovskaja-Marcevaja
- 63 Michele Grignaffini *Risveglio*
Traduzione in russo di Anna Lentovskaja

- 5 Ассоциация «Познаём Евразию»
- 6 Литературный институт имени А.М. Горького

- 9 ЛИТЕРАТУРНЫЙ АЛЬМАНАХ 4
- 11 Антонио Фаллико
Президент Ассоциации «Познаём Евразию»
- 15 Борис Тарасов
Ректор Литературного института им. А.М. Горького
- 19 Премия «Радуга»
- 21 Победители и финалисты Премии «Радуга»
- 26 Итальянское жюри
- 29 Российское жюри

- 33 МОЛОДЫЕ ИТАЛЬЯНСКИЕ ПИСАТЕЛИ
- 35 Никола Карбони *Отражение*
Перевод Марии Володиной
- 45 Фабио Кирыятти *Пустяшки*
Перевод Валентины Кучеровской–Марцевой
- 63 Микеле Гриньяффини *Пробуждение*
Перевод Анны Лентовской

- 79 Marta Manfioletti *Bellerofonte*
Traduzione in russo di Ivan Semënov
- 91 Sabrina Sansalone *L'ultimo Natale (gli ultimi Natali)*
Traduzione in russo di Zinaida Ložkina
- 101 *Giovani traduttori russi*
- 105 GIOVANI NARRATORI RUSSI
- 107 Diana Boguslavskaja *Vecchie*
Traduzione in italiano di Amedeo Pagliaroli
- 121 Il'ja Ludanov *Dalla terra al soffitto*
Traduzione in italiano di Elisabetta Spediacci
- 145 Dmitrij Romanov *Slivyč*
Traduzione in italiano di Francesco Bigo
- 161 Elena Tarchanova *La lettera*
Traduzione in italiano di Alessandra Moretti
- 181 Dmitrij Filippov *La Madonna*
Traduzione in italiano di Maria Rosaria Carrozzo
- 207 *Giovani traduttori italiani*

- 79 Марта Манфьоветти *Беллерофонте*
Перевод Ивана Семёнова
- 91 Сабрина Сансалоне *Последнее Рождество (два последних Рождества)*
Перевод Зинаиды Ложкиной
- 101 *Молодые российские переводчики*
- 105 МОЛОДЫЕ РОССИЙСКИЕ ПИСАТЕЛИ
- 107 Диана Богуславская *Старухи*
Перевод Амедео Пальяроли
- 121 Илья Луданов *От чернозема до потолка*
Перевод Элизабетты Спедиаччи
- 145 Дмитрий Романов *Сливыч*
Перевод Франческо Биго
- 161 Елена Тарханова *Молитва*
Перевод Алессандры Моретти
- 181 Дмитрий Филиппов *Мадонна*
Перевод Марии Розарии Карроццо
- 207 *Молодые итальянские переводчики*

Almanacco letterario 4

Conoscere Eurasia Edizioni

è stato stampato nel mese di maggio 2013

da Cierre Grafica, Quadrante Europa, via Ciro Ferrari 5,
37066 Caselle di Sommacampagna (Verona), Italia.

Литературный альманах – Выпуск 4

Издательство «Познаём Евразию»

напечатан в мае 2013 года

Чиэрре Графика, Куадранте Европа, ул. Чиро Феррари, 5
37066 Казелле ди Соммакампанья (Верона), Италия



Литературный институт
им. А.М.Горького



Con la partecipazione di

